БШ Библиотека школьника

И. С. Тургенев

РАССКАЗЫ • ПОВЕСТИ
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО • ОТЦЫ И ДЕТИ

Все произведения школьной программы
для обязательного чтения и изучения

Иван Сергеевич Тургенев

Рассказы

Повести

Стихотворения в прозе

Дворянское гнездо

Отцы и дети

Рассказы

Муму

В одной из отдаленных улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолью[1] и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней.[2] Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста,[3] сложенный богатырем и глухонемой от рождения.

Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком.[4] Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей.[5] Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и

визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них разрешения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного: вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не веди, все в околотке[6] очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, – они его побаивались, – а коротких; он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, – а то беда! – увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой

прочный и приземистый, что сам Герасим бывало поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-нибудь захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким,[7] Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

– А что, Гаврило, – заговорила вдруг она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! можно-с, – ответил Гаврило, – и очень даже будет хорошо-с.

– Да; только кто ж за него пойдет?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврило хотел было что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнес Гаврило и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврило сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но, прежде чем мы

передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно только тонкое белье), была женщина лет двадцати восьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле: работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо; жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник,[8] оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей да другие дядья у ней в мужиках состояли, вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного; к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других – боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему: кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей прянишного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул ей пряник в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда бывало она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над

Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил, да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша,[9] начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к самому столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозился ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтобы в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное, не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта эдакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь… Право…»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинув руки назад, и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. Вот, мол, я. Чего вам потребно?

Гаврило посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

– Хорош, – проговорил Гаврило и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты, небось, лучше?» – подумал он про себя.

– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврило: – ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием посмотрел на свои дырявые сапоги, особенно тот, об носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

– А что? – с?

– Что-с? – повторил Гаврило. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазами.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврило Андреич», – подумал он про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврило, – ведь опять? А? Ну, отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья? Мало тебя наказывают, вот что. А в Питере еще был в ученье… Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам господь бог, и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства, то в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я…

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да

дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне… – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

– Как не понимать-с.

– Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон осклабился.

– Женитьба – дело хорошее для человека, Гаврило Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну да, – возразил Гаврило и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух: – невесту-то тебе приискали неладную…

– А какую, позвольте полюбопытствовать…

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся? Разве она тебе не по нраву?

– Какое не по нраву, Гаврило Андреич! девка она ничего, работница, смирная девка… Да ведь вы сами знаете, Гаврило Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней…

– Знаю, брат, все знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь…

– Да помилуйте, Гаврило Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврило Андреич, он глух и, в добаву, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврило Андреич, – хуже идола… осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – все же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай…

– Господи боже мой! – с жаром продолжал башмачник: – когда же конец? когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В малых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец, в зрелые годы вот до чего дослужился…

– Эх ты, мочальная душа, – проговорил Гаврило. – Чего

распространяешься, право!

– Как чего, Гаврило Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврило Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится…

– Ну, пошел вон, – нетерпеливо перебил его Гаврило.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вослед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврило Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж итти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврило Андреич. А кого оне мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с…

– Одна беда… ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь эдакой.

– Убьет, Гаврило Андреич, беспременно убьет.

– Убьет… Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет. Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврило Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! ведь ты ему эдак ничего не обещала…

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал: «Безответная ты душа!»

– Ну, хорошо, – прибавил он: – мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла.

«А, может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то этого мы скрутим; коли что, в полицию знать дадим…»

– Устинья Федоровна, – крикнул он громким голосом своей жене, – наставьте-ка самоварчик, моя почтенная!

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказывал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко производился: хмелем гораздо забирал. Мрачный товарищ только ему поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок,[10] которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврило вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось: она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно, но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три… Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик, по прозвищу Дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да; да, да, да) начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз бывало с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся

человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом сама она видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика; дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю… Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него…

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычанием закивал головой; потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу… Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза… Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла… Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор[11] Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, будто Герасим, сидя на кровати и приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее и на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе с своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он все не пропадет, но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово и мужики уже держали вожжи

в руках и ждали только слова: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся, увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг… Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других, – он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без

памяти… и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней – бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери. И она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох… Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес, желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями.

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство… а именно: в один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у нее продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит

палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н…н…е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немого…

– Боже мой! – прервала ее барыня, – да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она. – Приведите поскорее Муму! Она в палисаднике.

– А, ее Муму зовут, – промолвила барыня: – очень хорошее имя.

– Ах, очень-с, – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая… не бойсь…

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей чего-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! к барыне нейдет. Чего боится?

– Оне не привыкли еще, – произнесла робким и умильным голосом

одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и все дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку.

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь… Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки, – не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила), – ах, ах!

– Отнести ее вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! Какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову», и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала!

– Собака-с… какая-с… может быть, немого собака-с… – произнес он не совсем твердым голосом.

– Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну, чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки

заводить. Старшего нет в доме, вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, а у меня там розы посажены.

Барыня помолчала.

– Чтоб ее сегодня же здесь не было… слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я потом позову.

Гаврило вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике[12] спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине,[13] судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей, а Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд.[14] Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтоб он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор: в калитку-то он побоялся идти – как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему… бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу, туда-сюда… Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками… Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и

посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Муму!» Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова… а любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврило отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки и принялся за работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но не надолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал.

Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился, но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил… перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду… Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилась, и он решил принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул своим старым армяком и чуть свет был уже на дворе как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!)

прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страха перед ним не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой: «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил, – словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение.[15] В течение дня Герасим раза два украдкой заходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у нее всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилось и замерло.

– Девки, девки! – простонала она. – Девки!

Перепуганные девки, вскочили к ней в спальню.

– Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят… Собака, опять собака! Ох, – и она закинула голову назад, что должно было означать обморок.

Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурил жженьими перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную, старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму

продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора.

– Вот… вот… опять, – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.

Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврило сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврило прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок; сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврило ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом: она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила она с выражением глубокого чувства. – Подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврило, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна

глядел Дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврило подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

– Отвори!

Послышался слабый лай; но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврило Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все засмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврило.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврило нагнулся.

– Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврило почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврило прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврило со двора, – смотри у меня, смотри!..

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврило сделал шаг вперед.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки; подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврило.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврило. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврило Андреич, – промолвил Степан: – он сделает, коли обещал. Уж он такой… Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал «да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврило. – А караул все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. – Что тебе делать? Возьми палку да и сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврило вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому.[16] Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся, шапку надел только на улице. Гаврило послал вслед за ним того же Ерошку, в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась; видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья; Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – в щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и пошел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового.[17] Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки; дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Какой-то хромой старичишко вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против

течения реки, что в одно мгновение умчался саженей на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки… Герасим ничего не слыхал – ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали и постукивали они об бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

– Ну да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал…

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка. – Можно ли эдак из-за собаки проклажаться!.. Право!..

– Да Герасим был здесь, – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? Когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил

он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т…у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях… Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня; с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели… Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушукания деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги; но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собою белеющую дорогу – дорогу домой, прямую, как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст…

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, – и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы…

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел,

посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока Дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.[18]

И живет до сих пор Герасим бобылем[19] в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему и работает за четырех по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – его же счастье, что ему не надобеть[20] бабья, а собака – на что ему собака! к нему на двор вора оселом[21] не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

Из «Записок охотника»

Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело, величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кроткости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоня-ет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба…

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском

уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ[22] немилосердно резал мне плечо, но уже вечерняя заря погасала и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся… «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня… «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща… Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением

надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую… Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились

люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы…

Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина Луга… Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и, в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков,[23] дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейниками в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она

продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной, полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армянок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной[24] рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами

из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза; они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?

– Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал… Да и не я один.

– А он у вас где водится? – спросил Павлуша.

– В старой рольне.[25]

– А разве вы на фабрику ходите?

– Как же, ходим. Мы с братом с Авдюшкой в лисовщиках состоим.[26]

– Вишь ты – фабричные!..

– Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя.

– А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся

смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то[27] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут… Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего… Вдруг, глядь, у одного чана форма[28] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору!

– Вишь как! – промолвил Павел. – Что ж он раскашлялся?

– Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

– А что, – спросил Федя, – картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

– Нет, еще сыры… Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука… А вон звездочка покатилась.

– Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

– Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя.

– Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

– Ну да, знаем.

– А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел, бог знает, куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы

мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется… А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц – все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая сама вся светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный… Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет, да его к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест… А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается… Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет… Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти… А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

– Эка! – проговорил Федя после недолгого молчанья, – да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, он же ее не послушался?

– Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

– Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя.

– Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

– Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

– Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

– А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя.

– Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный,

звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули…

– С нами крестная сила! – шепнул Илья.

– Эх вы, вороны! – крикнул Павел, – чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

– А слыхали вы, ребятки, – начал Ильюша, – что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

– На плотине-то? – спросил Федя.

– Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли[29] водятся.

– Ну, что такое случилось? сказывай…

– А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так – бугорочек… Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять, барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в

глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчишки перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека… Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

– Что там? что такое? – спросили мальчики.

– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него.

– А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя.

– Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

– А какие ты нам, Ильюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). – Да и собак тут нелегкая дернула залаять… А точно, я слышал, что место у вас нечистое.

– Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз

дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

– Он его спросил? – перебил изумленный Федя.

– Да, спросил.

– Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот?

– Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: – разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон…

– Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил.

– Экое диво! – промолвил Костя, – я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

– Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Ильюшка, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… – Но в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

– Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя.

– Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала… только все как будто собачка этак залает, залает где-то… Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет…

– Тот, что умер весной? – перебил Федя.

– Тот самый. Идет и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться – ах ты, господи! – сама идет по дороге, сама Ульяна.

– Неужто сама? – спросил Федя.

– Ей-богу, сама.

– Ну что ж, ведь она еще не умерла?

– Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь,

покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?[30]

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[31] увидят.

– Какого это Тришку? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша, – ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне: выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский… ну, а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный лукавый человек.

– Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная… Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка

идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар,[32] Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли… Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее…

Костя вздрогнул. «Что это?»

– Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел.

– Цапля, – повторил Костя… – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь…

– Что ты слышал?

– А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел – знаешь, там, где он сугибелью[33] выходит, там ведь есть бучило;[34] знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у… у-у… у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это такое было? ась?

– В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится.

– А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза… – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

– А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал

Павел, – которые так жалобно кричат.

– Лягушки? Ну, нет, это не лягушки… какие это… (Цапля опять прокричала над рекой.) Эк ее! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит.

– Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильюша, – он только в ладоши хлопает да трещит…

– А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя.

– Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны… Едва-те к свету домой добился.

– Ну, и видел он его?

– Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает…

– Эх, ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, – пфу!..

– И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел, – право!

– Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья. Настало опять молчание.

– Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звездочки, что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

– А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?

– Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя.

– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..

– Не знаю.

– Ты ей скажи, чтобы она ходила.

– Скажу.

– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

– А мне дашь?

– И тебе дам.

Ваня вздохнул.

– Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в

руку пустой котельчик.

– Куда ты? – спросил его Федя.

– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

– Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Ильюша.

– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется.

– Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

– С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

– От того самого.

– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.

– Какого Васю? – спросил Федя.

– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп;

ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, – помните, Вася-то все такую песенку певал, – вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится…

– А вот Павлуша идет, – молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

– Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело.

– А что? – торопливо спросил Костя.

– Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

– Что ты, что ты? – пролепетал Костя.

– Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

– Ах ты, господи, ах ты, господи! – проговорили мальчики, крестясь.

– Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя… – А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

– Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша.

– Ну, ничего, пущай! – произнес Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

– Это кулички летят, посвистывают.

– Куда ж они летят?

– А туда, где, говорят, зимы не бывает.

– А разве есть такая земля?

– Есть.

– Далеко?

– Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В

воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Хорь и Калиныч

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя[35] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет, в Калужской, напротив, засеки[36] тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова[37] и повесть *Пинну*,[38] заикался, называл свою собаку Астрономом; вместо *однако*

говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик… Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

– А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.

– Нет. Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых как снег зубов. – Тележку заложить прикажете?

– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Все Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым

Хорем в город… Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. – Хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублев в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок…» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

– Ну, и разбогател? – спросил я.

– Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету… Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» – «Сейчас,

батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный, теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев. – Легкий порыв ветерка разбудил меня… Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г-н Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит… Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с

любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте… Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то… Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть из осторожности… Вот вам образчик нашего разговора:

– Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина?

– А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю… барин у нас хороший.

– Все же лучше на свободе, – заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

– Вестимо, – проговорил он.

– Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой:

– Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

– Ну, полно, старина…

– Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

– А ты сам бороду сбрей.

– Что борода? Борода – трава: скосить можно.

– Ну, так что ж?

– А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

– А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? – спросил я его.

– Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком… Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», – подумал я.

– Нет, – сказал я вслух, – тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

– Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! – вскричал он, поднимаясь с места, – сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с

ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два, собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать… я, наконец, задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

– Самовар тебе готов, – сказал он мне с улыбкой, – пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

– Что у тебя за рослый народ! – заметил я старику.

– Да, – промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, – на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

– И все с тобой живут?

– Все. Сами хотят, так и живут.

– И все женаты?

– Вон один, пострел, не женится, – отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. – Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

– А что мне жениться? – возразил Федя. – Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

– Ну, уж ты… уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь… Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться… «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. – Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

– А в бабе-то что хорошего?

– Баба – работница, – важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга.

– Да на что мне работница?

– То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

– Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

– Ну, полно, полно, балагур… Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой…

– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь; например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился; например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через

две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается! Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние: их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла», быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, – и они ее точно продают – не в городе, – в город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно, когда он «усердствует»! – Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов,

необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, – как же?..» – «А! ах, господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! не бьешь ты жены, не бьешь молодой…» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими… пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся… Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и

«лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж, он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик…» – «Да вот и я мужик, а вишь…» При этом слове Хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

– Посмотри-ка, – возразил я ему: – как у Калиныча на пасеке чисто.

– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.

«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина[39] есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я. – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю…

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

Певцы

Небольшое село Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый по самой середине улицы и пуще реки, – через реку можно по крайней мере навести мост – разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка; эта избушка – кабак, прозванный «Притынным».[40] В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч – некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, – уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваным человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек

осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне, и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводить своих посетителей – и то любимых им посетителей – на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерпетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т.д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним – нет! Он просто старается предупредить всё то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николай Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными

конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда… Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда же пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно бессмысленного созерцания, в собаках – негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, – как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

– Иди, иди же! – залепетал он, с усилием поднимая густые брови, – иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь… Иди.

– Ну, иду, иду, – раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально

выдвигался вперед, как руль. – Иду, любезный, – продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения, – зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

– Зачем я тебя зову? – сказал с укоризной человек во фризовой шинели. – Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь: зачем? А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили – кто кого одолеет, лучше споет, то есть… понимаешь?

– Яшка петь будет? – с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. – И ты не врешь, Обалдуй?

– Я не вру, – с достоинством отвечал Обалдуй, – а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

– Ну, пойдем, простота, – возразил Моргач.

– Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, – залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

– Вишь, Езоп изнеженный – презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке, как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит. Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой

на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина пошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие, беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы – всё его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, – да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, короткм и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными, блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки – рядчик из Жиздры: это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход – это я мог заметить – сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, воле мужичка в изорванной свите.

– Ну, что ж! – возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. – Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

– Начинать, начинать, – одобрительно подхватил Николай Иваныч.

– Начнем, пожалуй, – хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, – я готов.

– И я готов, – с волнением произнес Яков.

– Ну, начинайте, ребятки, начинайте, – пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, – все словно ждали чего-то.

– Начинай! – угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

– А кому начинать? – спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который всё продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

– Тебе, тебе, рядчик, – залепетал Обалдуй, – тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

– Жеребий кинуть, – с расстановкой произнес Дикий-Барин, – да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик – свой.

– Тебе выбирать, – проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал

его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

– Ведь я же говорил, что тебе, – воскликнул Обалдуй, – я ведь говорил.

– Ну, ну, не «циркай»! – презрительно заметил Дикий-Барин. – Начинай, – продолжал он, качнув головой на рядчика.

– Какую же мне песню петь? – спросил рядчик, приходя в волненье.

– Какую хочешь, – отвечал Моргач. – Какую вздумается, ту и пой.

– Конечно, какую хочешь, – прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. – В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

– Разумеется, по совести, – подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

– Дайте, братцы, откашляться маленько, – заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

– Ну, ну, не прохлаждайся – начинай! – решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами…

Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю нелишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в

обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало – прямо Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, – так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин. Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня – и, вероятно, для многих других – темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю. Приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки». Они никогда не смотрят просто – все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому простое, предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело, – кажется, тут по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает

и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», – уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе – художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько подробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и – странное дело – его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обедневшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе, но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, – не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, – в нем вообще не было ничего скромного, – но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал, и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил – ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то

громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснуться; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавица. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, – смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик[41] выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом.[42]

Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлой, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занозистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодованье. Это был русский tenore di grazia, ténor léger.[43]

Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пенье, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях: ему недоставало поддержки хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо… Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще!

Накалывай еще, собака ты эдакая, пес!.. Погуби, Ирод, твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, – а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один Дикий Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, – общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом; Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» – даже мой сосед, мужик в изорванной свитке, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери – хорошо!» и с решительностью плюнул в сторону.

– Ну, брат, потешил! – кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, – потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю – осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко… Уж я тебе говорю: далеко… А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

– Да пусти же его; пусти, неотвязная… – с досадой заговорил Моргач: – дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал… Экой ты фофан,[44] братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

– Ну, что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, – возразил Обалдуй и подошел к стойке. – На твой счет, брат, – прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

– Хорошо поешь, брат, хорошо, – ласково заметил Николай Иваныч. – А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим… А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо.

– Очинна хорошо, – заметила Николая Иванычева жена и с

улыбкой поглядела на Якова.

– Хорошо-га! – повторил вполголоса мой сосед.

– А, заворотень-полеха![45] – завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. – Полеха! полеха! Га, баде паняй,[46] заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? – кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого Барина:

– Да что ж это за несносное животное такое? – произнес он, скрыпнув зубами.

– Я ничего, – забормотал Обалдуй: – я ничего… я так…

– Ну, хорошо, молчать же! – возразил Дикий Барин. – Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

– Что, брат, того… что-то… Гм… Не знаю, право, что-то того…

– Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо – оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым – третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песнь. «Не одна во поле дороженька пролегала», – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая

душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… я оглянулся – жена целовальника[47] плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего, Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился… Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех крутом и увидал, что победа была его…

– Яша, – проговорил Дикий Барин, положил ему руку на плечо – и смолк.

Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты… твоя… ты выиграл», – произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты…

Его быстрое решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница

крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу, хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», – твердил Обалдуй, высоко поднимая руки…

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел оставаться – я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова… Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, – все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно – все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели

над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бородку, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого Барина я в ней не видел.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» – кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:

– Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

– Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

– Заче-е-е-ем? – ответил тот спустя долгое время.

– А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, – поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки…

«Антропка-а-а!» – все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

Бирюк

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозняками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины – следы тележных колес: лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону – та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

– Кто это? – спросил звучный голос.

– А ты кто сам?

– Я здешний лесник.

Я назвал себя.

– А, знаю! Вы домой едете?

– Домой. Да видишь, какая гроза…

– Да, гроза, – отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

– Не скоро пройдет, – продолжал лесник.

– Что делать!

– Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, – отрывисто проговорил он.

– Сделай одолжение.

– Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин», – промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» – раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка, лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

– Посвети барину, – сказал он ей, – а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом – сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

– Ты разве одна здесь? – спросил я девочку.

– Одна, – произнесла она едва внятно.

– Ты лесникова дочь?

– Лесникова, – прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

– Чай, не привыкли к лучине? – проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой

замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

– Меня зовут Фомой, – отвечал он, – а по прозвищу Бирюк.[48]

– А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись, как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, – силен, дескать, и ловок, как бес… И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет – не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

– Так ты Бирюк, – повторил я, – я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

– Должность свою справляю, – отвечал он угрюмо, – даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

– Аль у тебя хозяйки нет? – спросил я его.

– Нет, – отвечал он и сильно махнул топором.

– Умерла, знать?

– Нет… да… умерла, – прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

– С прохожим мещанином сбежала, – произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. – На, дай ему, – проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. – Вот и его бросила, – продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

– Вы, чай, барин, – начал он, – нашего хлеба есть не станете, а у меня, окромя хлеба…

– Я не голоден.

– Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету… Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего

дыма неприятно стеснил мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели не шевелясь.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Улитой, – проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

– Гроза проходит, – заметил он после небольшого молчанья, – коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

– Это зачем? – спросил я.

– А в лесу шалят… У Кобыльего Верху[49] дерево рубят, – прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

– Будто отсюда слышно?

– Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во… вот, – проговорил он вдруг и протянул руку, – вишь, какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй, – прибавил он вслух, – и прозеваю его». – «Я с тобой пойду… хочешь?» – «Ладно, – отвечал он и попятил лошадь назад, – мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, – бормотал он сквозь зубы, – слышите? слышите?» – «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье – мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался…

– Повалил… – пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», – шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный

шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрыпели, лошадь фыркала… «Куда? стой!» – загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи… Началась борьба. «Вре-ешь, вре-шь, – твердил, задыхаясь, Бирюк, – не уйдешь…» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

– Отпусти его, – шепнул я на ухо Бирюку, – я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за челку левой рукой: правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» – промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите» – пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» – сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади… Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

– Эк его, какой полил, – заметил лесник, – переждать придется. Не хотите ли прилечь?

– Спасибо.

– Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, – продолжал он, указывая на мужика, – да, вишь, засов…

– Оставь его тут, не трогай, – перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены… Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу… дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

– Фома Кузьмич, – заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, – а, Фома Кузьмич.

– Чего тебе?

– Отпусти.

Бирюк не отвечал.

– Отпусти… с голодухи… отпусти.

– Знаю я вас, – угрюмо возразил лесник, – ваша вся слобода такая – вор на воре.

– Отпусти, – твердил мужик, – приказчик… разорены, во как… отпусти!

– Разорены!.. Воровать никому не след.

– Отпусти. Фома Кузьмич… не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

– Отпусти, – повторял он с унылым отчаяньем, – отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи… детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

– А ты все-таки воровать не ходи.

– Лошаденку, – продолжал мужик, – лошаденку-то, хоть ее-то… один живот и есть… отпусти!

– Говорят, нельзя… Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

– Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того… отпусти!

– Знаю я вас!

– Да отпусти!

– Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился… Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на, – начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, – на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей…»

Лесник обернулся.

– Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

– Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? – заговорил с изумлением лесник. – С ума сошел, что ли?

– Пьян!.. не на твои деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

– Ах ты… да я тебя!..

– А мне что? Все едино – пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби – один конец; что с голоду, что так – все едино. Пропадай все: жена, дети – околевай всё… А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

– Бей, бей, – подхватил мужик свирепым голосом, – бей, на, на, бей… (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

– Молчать! – загремел лесник и шагнул два раза.

– Полно, полно, Фома, – закричал я, – оставь его… бог с ним.

– Не стану я молчать, – продолжал несчастный. – Все едино – околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету… Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо… Я бросился на помощь мужику…

– Не троньте, барин! – крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

– Убирайся к черту с своею лошадью! – закричал он ему вслед, – да смотри, в другой раз у меня…

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

– Ну, Бирюк, – промолвил я наконец, – удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

– Э, полноте, барин, – перебил он меня с досадой, – не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, – прибавил он, – знать, дождика-то вам не переждать…

На дороге застучали колеса мужицкой телеги.

– Вишь, поплелся! – пробормотал он, – да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

Лес и степь

…И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где пахнет конопелью да крапивой…
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами,
И падает тяжелый, желтый луч
Из-за прозрачных белых круглых туч;
Там хорошо. . . . . .

(Из поэмы, преданной сожжению.)

Читатель, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich[50], как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату… Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо… На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега… Вы едете – едете мимо церкви, с горы направо, через плотину… Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо

воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре… Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул – потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая, с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете… Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто… Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору… Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль… не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как быстро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханье весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца… Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень… Вы поздоровались с ним, отошли – звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой… Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

– Где бы, брат, тут напиться? – спрашиваете вы у косаря.

– А вон, в овраге колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мохом. Вы бросаетесь на землю, вы

дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага… что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния… Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, всё вдруг потемнело… Скорей! вон, кажется виднеется сенной сарай… скорее! Вы добежали, вошли… Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено… Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает всё кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени… Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката… Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость… А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет… Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни… Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин…

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес… Лес глохнет… Неизъяснимая

тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед…

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душой владеет человек. И ничего кругом ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму…

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, – когда по реке радостно мчатся синие волны, тихо вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней…

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная

полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас – всюду туман… Но вот ветер слегка шевельнется – клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу, – и вот опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой, нежно сияющей вышине…

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам – вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитных лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом… Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы – какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы;[51] старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот он наконец – безграничная, необозримая степь!..

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом всё

блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потолки…

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль… Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

Повести

Ася

I

Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н.Н., – дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «кончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея[52] возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе».[53] Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому

лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!»[54] – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны[55] с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки: я

прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater,[56] Gaudeamus,[57] курят, бранят филистеров;[58] иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя…

– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся… Взор мой упал на красивого молодого

человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

– Да, русские.

– Я никак не ожидал…. в таком захолустье, – начал было я.

– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя… – он запнулся на мгновенье, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л. да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье – и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка

обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

– Вот и наше жилище! – воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, – а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..[59] Мы сейчас примемся за еду; но прежде, – прибавил он, – оглянитесь… каков вид?

Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

– Отличную вы выбрали квартиру, – промолвил я.

– Это Ася ее нашла, – отвечал Гагин, – ну-ка, Ася, – продолжал он, – распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, – прибавил он, обратясь ко мне, – вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) – Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

– Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной.

Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно

на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым… Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал… Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице… «Что же это значит? – спросил я самого себя. – Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу…

Я поспешил ему отворить дверь.

– Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют…

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на

«развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

– Да, да, – подхватил он со вздохом, – вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

– Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, – промолвил он сквозь зубы, – не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

– А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

– Полноте, – сказал мне шепотом Гагин, – не дразните ее; вы ее не

знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное… «Она хочет удивить нас, – думал я, – к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

– Ты думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обратившись к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала… Мне стало еще досаднее.

– Да она как коза лазит, – пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновенье от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы

обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

– За здоровье дамы вашего сердца!

– А разве у него, – разве у вас есть такая дама? – спросила вдруг Ася.

– Да у кого же ее нет? – возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновенье; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен[60] и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?

– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

– Фрау Луизе, – начал Гагин, стараясь избегать моего взора, – вдова бывшего здешнего бургомистра,[61] добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, – прибавил он, помолчав немного, – да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого

не умею, а с нее и подавно. Я *обязан* быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником… Без горького, постоянного труда не бывает художников… а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, – нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидали темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься.

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» – воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать… думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию… «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом…» «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине,[62] – шептал я, – да; и она ему не сестра…»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она

принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?

– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу a la Van Dyck,[63] блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок. Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я и двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею – ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

– А-га! – говорил Гагин, – пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и

смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу a la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

– Браво! – сказал я, подойдя к ней, – как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

– Вы думаете, я только смеяться умею, – промолвила она и хотела удалиться…

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

– Однако я ваш выбор похвалить не могу, – заметил я.

– Что же читать! – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: – Так лучше пойду дурачиться, – и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Недолго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки,

находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо… вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова:

– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.

– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным… Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновенье не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него… И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла

удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям: неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, – все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами…

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы… Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня… Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидала меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

– Скажите, – начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю…

– Ее историю?.. – перебил я, – разве она не ваша…

Гагин взглянул на меня.

– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими

другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его… но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечки, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести

Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать… Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявил желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла

свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы… Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, – говаривала она мне, – и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой… Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец, ей минуло семнадцать лет; оставаться ей далее в

пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она… шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить… И при этом так расплакалась…

– Так вот что… – промолвил было я и прикусил язык. – А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.

– Послушайте, – начал я, – пойдемте к вам, мне домой не хочется.

– А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

– Вот он опять, – заговорил Гагин, – и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я, в свою очередь, протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде

сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала: не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

– И вам не скучно было без нас? – начала Ася.

– А вам без меня было скучно? – спросил я. Ася взглянула на меня сбоку.

– Да, – отвечала она. – Хорошо в горах? – продолжала она тотчас, – они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

– Вольно ж вам было уходить, – заметил я.

– Я уходила… потому что… Я теперь вот не уйду, – прибавила она с доверчивой лаской в голосе, – вы сегодня были сердиты.

– Я?

– Вы.

– Отчего же, помилуйте…

– Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

– И я рад, что вернулся, – промолвил я. Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.

– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.

– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня… по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее?[64] Ведь это *ее* скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами…

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

– Ах, мне хорошо, – проговорила она.

В это мгновенье долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями…

– Вот бы пойти с ними, – сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

– Разве вы так набожны?

– Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, – продолжала она. – А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

– Вы честолюбивы, – заметил я, – вы хотите прожить не даром, след за собой оставить…

– А разве это невозможно?

«Невозможно», – чуть было не повторил я… Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

– Попытайтесь.

– Скажите, – заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, – вам очень нравилась та дама… Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

– Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

– А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув голову, с невинным любопытством.

– Какой странный вопрос! – воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

– Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

– Говорите ради бога, не бойтесь, – подхватил я, – я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за

ней такого смеха.

– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»…

Она вдруг задумалась…

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной матерью моей! –

проговорила она вполголоса.

– У Пушкина не так, – заметил я.

– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она все так же задумчиво. – Рассказывайте, – подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.

– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если б мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы.

– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.

– Как так?

– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

– А у вас были?

– Как вам сказать… Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.

– Умею, – отвечал я, несколько озадаченный.

– Так пойдемте, пойдемте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически-строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на средину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла – и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце… поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке… но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки… Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит… Нет! во мне зажглась жажда счастия. Я еще не смел назвать его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился… А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили…

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою – и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии

художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

– Нет, не такая, – возразила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

– О чем?

– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой…

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

– Когда я жила с матушкой… я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной, должно быть, очень скучно.

– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом…

– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, – продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы… Правда ли, что женщинам не следует читать много?

– Много не нужно, но…

– Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, – прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

– Ведь вам не будет скучно со мною?

– Помилуйте, – начал я.

– Ну, спасибо! – возразила Ася, – а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

– Н.! – вскрикнул в это мгновенье Гагин, – не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

– Послушайте, – сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня?

– Что у вас за мысли сегодня! – воскликнул я.

– Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так… Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

– Разве вы меня боялись?

– Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу…

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною – а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

– Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной… Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны: а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово…

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

– Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты…

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

– Вы сегодня дурного мнения обо мне, – сказала она, нахмурив брови.

– Я? дурного мнения? о вас!..

– Что это вы точно в воду опущенные, – перебил меня Гагин, – хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

– Нет, нет, – возразила Ася и стиснула руки, – сегодня ни за что!

– Я тебя не принуждаю, успокойся…

– Ни за что, – повторила она бледнея.

* * *

«Неужели она меня любит?» – думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

XIII

«Неужели она меня любит?» – спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» – и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу – не мог; хотел ничего не делать и не думать… и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

– Вы ли господин Н.? – раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. – Это вам от фрейлейн Annette, – прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее – и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, – писала мне она, – приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность… Придите ради бога, вы все узнаете… Скажите посланному: „да“.

– Будет ответ? – спросил меня мальчик.

– Скажи, что да, – отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась – вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

– Что с вами? – спросил я. Гагин взял стул и сел против меня.

– Четвертого дня, – начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, – я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы… так прямо… Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся…

– Ваша сестра, говорите вы…

– Да, да, – перебил меня Гагин. – Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать – и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки… но она себя погубит, непременно.

– Да вы ошибаетесь, – начал я.

– Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем не жаловалась… Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых… Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить… Рыдания ее усиливаются… и вдруг сквозь эти рыдания услышал я… Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, – продолжал Гагин, – но почему она вас так полюбила – этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, – я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее – просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней

до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, – и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился – поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее– уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть… как знать? – вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд… Притом же я сам кое-что заметил. Я решился… узнать от вас… – Бедный Гагин смутился. – Извините меня, пожалуйста, – прибавил он, – я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

– Вы хотите знать, – произнес я твердым голосом, – нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится…

Гагин взглянул на меня.

– Но, – проговорил он запинаясь, – ведь вы не женитесь на ней?

– Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь…

– Знаю, знаю, – перебил меня Гагин. – Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой – верх неприличия… Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить… Другая умела бы все скрыть и выждать – но не она. С нею это в первый раз, – вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

– Да, – сказал я наконец, – вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

– Вы, повторяю, благородный человек, – проговорил он, – но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности… и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером

мы положили сойтись опять.

– Я твердо надеюсь на вас, – сказал Гагин и стиснул мне руку, – пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, – прибавил он, вставая, – потому что ведь вы на Асе не женитесь.

– Дайте мне сроку до вечера, – возразил я.

– Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня…

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – сказал я, вставая.

XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

– От фрейлейн Annette, – сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

– Опять: да? – спросил меня мальчик.

– Да, – повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

– Да, да, – промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, – Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее: она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил

пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь… Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я, наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал – и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

– Сюда! – послышался старушечий голос. – Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

– Вы это, фрау Луизе? – спросил я.

– Я, – отвечал мне тот же голос, – я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову…

– Анна Николаевна, – сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала как мертвая на моей ладони.

– Я желала… – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела… Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы… Я глядел на нее: было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло…

– Ася, – сказал я едва слышно…

Она медленно подняла на меня свои глаза… О, взгляд женщины, которая полюбила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались… Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке…

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы…

– Ваша… – прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана… Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

– Что мы делаем!.. – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. – Ваш брат… ведь он все знает… Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

– Да, – продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. – Ваш брат все знает… Я должен был ему все сказать.

– Должны? – проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

– Да, да, – повторил я с каким-то ожесточением, – и в этом вы одни

виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. – Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. – Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

– Останьтесь, – воскликнул я, – останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком – да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» – думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, – так и звенела у меня в голове.

– Я не звала брата, – послышался испуганный шепот Аси, – он пришел сам.

– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать…

– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

– И вы думаете, – возразил я, – мне будет легко с вами расстаться?

– Но зачем же вы сказали брату? – с недоумением повторила Ася.

– Я вам говорю – я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя…

– Я заперлась в моей комнате, – возразила она простодушно, – я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ…

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту – меня тогда чуть не рассердило… а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

– И вот теперь все кончено! – начал я снова. – Все. Теперь нам должно расстаться. – Я украдкой взглянул на Асю… лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. – Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне…

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед – и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

– Анна Николаевна, Ася, – твердил я, – пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте… – Я снова взял ее за руку…

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла…

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату – я все еще стоял на самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться…

– Фрейлейн ушла? – спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак – и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее… А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди – жгли меня. «Ваша…» – слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», – уверял я себя… Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» – повторял я с озлоблением…

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

– Видели вы сестру? – закричал он мне еще издали.

– Разве ее нет дома? – спросил я.

– Нет.

– Она не возвращалась?

– Нет. Я виноват, – продолжал Гагин, – не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

– Она не была у часовни.

– И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

– Где?

– У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, – прибавил я, – я был уверен, что она домой вернулась.

– Подождем, – сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

– Это ни на что не похоже! – воскликнул он, – у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу… пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

– О чем же вы с ней говорили? – спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

– Я виделся с ней всего минут пять, – отвечал я, – я говорил с ней, как было условлено.

– Знаете ли что? – возразил он, – лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час.

XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу… Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, – тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал… нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою… Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость… и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидать, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга… Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» – восклицал я в тоске бессильного отчаяния… Что-то белое мелькнуло вдруг на самом

берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло… Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого – но никто не отозвался…

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси… Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

– Нашли? – спросил я его.

– Она вернулась, – отвечал он мне шепотом, – она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

– Слава богу! – воскликнул я с несказанным порывом радости, – слава богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

– В другое время, – возразил он, тихо потянув к себе раму, – в другое время, а теперь прощайте.

– До завтра, – промолвил я, – завтра все будет решено.

– Прощайте, – повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору… «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив…»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день – а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней…

– Уехали! – брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

– Уехали?.. – повторил я. – Как уехали? Куда?

– Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?

– Я господин Н.

– К вам есть письмо у хозяйки. – Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. – Вот-с, извольте.

– Да не может быть… Как же это так?.. – начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня…» Я схватил себя за голову…

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе… Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидал опять эту комнатку…

– По-настоящему, – начала старуха, показывая мне маленькую записку, – я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше… Прощайте навсегда!»

Одно слово… О, я безумец! Это слово… я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей… но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее… Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании… оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее… но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы: я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, – выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, – я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

XXII

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски

остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более – я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору моей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней: я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод – и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знавал других женщин, – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… И я сам – что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.

Первая любовь

Посвящено П. В. Анненкову

Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

– Итак, это дело решенное, – промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару, – каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

– У меня не было первой любви, – сказал он, наконец, – я прямо начал со второй.

– Это каким образом?

– Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

– Так как же быть? – начал хозяин. – В моей первой любви тоже не много занимательного: я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, – и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, – надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

– Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных, – ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

– А! – промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. – Тем лучше… Рассказывайте.

– Извольте… или нет: рассказывать я не стану; я не мастер

рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку – и прочту вам.

Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.

Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (comme une bombe) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно… Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял – то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу – курс Кайданова, например, – но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло – так сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире – как весело дул мне в уши ветер! – или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского…

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови… ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев… Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день – недели три спустя после девятого мая – ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица – какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня… – а потом прибавила: – Должно быть, бедная какая-нибудь».

– На трех извозчиках приехали-с, – заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий, – своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

– Да, – возразила матушка, – а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад – и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно *наши* владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор – и окаменел… Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы – а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый, умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними…

– Молодой человек, а молодой человек, – проговорил вдруг подле меня чей-то голос, – разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел… Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне… Я увидал огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице – и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись… Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ

молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.

– Что с тобой? – внезапно спросил меня отец, – убил ворону?

Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом – и опять заснул.

III

«Как бы с ними познакомиться?» – было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна… Мне почудилось за занавеской *ее* лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною… Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина.

В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь, – писала она, – как благородная дама хблагородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать – матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна – и знала это – и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас

приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения – и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

– Чего вам?

– Княгиня Засекина дома? – спросил я.

– Вонифатий! – закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

– В квартал ходил? – повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то. – А?.. Пришел кто-то?.. – послышалось опять. – Барчук соседний? Ну, проси.

– Пожалуйте-с в гостиную, – проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я оправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

– Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

– Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?

– Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

– Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

– Очень хорошо; непременно буду, – промолвила она, наконец. – А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

– Шестнадцать лет, – отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

– Годы хорошие, – произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле. – А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.

«Слишком просто», – подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на нее локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив головку немного набок.

– Я уже видела мсьё Вольдемара, – начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) – Вы мне позволите так называть вас?

– Помилуйте-с, – пролепетал я.

– Где это? – спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери.

– Вы теперь заняты? – промолвила она, не спуская с меня глаз.

– Никак нет-с.

– Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большею частию полуприщуренные, открывались во всю величину свою, – ее лицо изменялось совершенно: точно свет

проливался по нем.

– Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? – спросила она погодя немного. – Вы, наверно, осудили меня?

– Я… княжна… я ничего не думал… как я могу… – отвечал я с смущением.

– Послушайте, – возразила она. – Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду… и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно… Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.

– Княжна… – начал было я.

– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, – что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся.

Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.

Она с расстановкой покачала головой.

– У вас есть гувернер? – спросила она вдруг.

– Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

– О! да я вижу – вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

– Держите прямо руки! – И она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне; так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой

шторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким светом ее пушистые, золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее – и как дорога и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам… «И вот я сижу перед ней, – подумал я, – я с ней познакомился… какое счастие, боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.

Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза – и опять она усмехнулась.

– Как вы на меня смотрите, – медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел… «Она все понимает, она все видит, – мелькнуло у меня в голове. – И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате – зазвенела сабля.

– Зина! – закричала в гостиной княгиня, – Беловзоров принес тебе котенка.

– Котенка! – воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.

Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навыкате.

– Какой смешной! – твердила Зинаида, – и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие! Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

– Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами… вот я и достал-с. Слово – закон. – И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

– Он голоден! – воскликнула Зинаида. – Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.

– Какой у него розовый язычок, – заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

– Унеси его.

– За котенка – ручку, – проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

– Обе, – возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал – засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.

– Что ты? – спросил я.

– Маменька прислала за вами, – проговорил он шепотом. – Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.

– Да разве я давно здесь?

– Час с лишком.

– Час с лишком! – повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.

– Куда вы? – спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

– Мне нужно домой-с. Так я скажу, – прибавил я, обращаясь к старухе, – что вы пожалуете к нам во втором часу.

– Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

– Так и скажите, – повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.

– Смотрите же, мсьё Вольдемар, заходите к нам, – крикнула Зинаида и опять рассмеялась.

«Что это она все смеется?» – думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался

за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно… Я силился не плакать… Я ревновал к гусару.

V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire,[65] что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней все какие-то тяжбы и дела – des vilaines affaires d'argent[66] – и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я ткнул нос в тарелку), – потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien», [67] по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл все свое состояние – и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, – впрочем, он бы мог лучше выбрать, – прибавил отец и холодно улыбнулся, – женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

– Как бы она денег взаймы не попросила, – заметила матушка.

– Это весьма возможно, – спокойно промолвил отец. – Говорит она по-французски?

– Очень плохо.

– Гм. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

– А! Стало быть, она не в мать.

– И не в отца, – возразил отец. – Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда – и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?»[68] – подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся – ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

– Это княжна? – спросил он меня.

– Княжна.

– Разве ты ее знаешь?

– Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова – но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» – не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук.

– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.

– Вот вздор! Какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила

о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность – и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек – на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее – и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь – чего гордиться – avec sa mine de grisette![69]

– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.

– И слава богу!

– Разумеется, слава богу… только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно…

Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs,[70] позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсьё Вольдемару билет.

– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.

– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

– По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в

чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.

– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!

– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.

– Браво! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.

– Я?.. – пролепетал я.

– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти

небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей *свой секрет*. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и, наконец, шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазёвываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу

ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко… Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец, я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен…

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра… Молнии не

прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, *воробьиная* ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня…

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

– Все-таки они люди не comme il faut,[71] – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне

неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня – ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и веселость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее – точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

– Что?

– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.

– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.

– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?

– Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась – и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

– Зина, а Зина! – проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней… Я изнывал… но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней – и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи – у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все

сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться… и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам…

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается, и качает головой.

– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я ее однажды.

– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.

– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил… Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

– Стало быть, вы никогда не полюбите?

– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда… но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал – и наполнялся весь каким-то безымянным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, – или бы назвал это все одним именем – именем Зинаиды.

А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, – то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то, что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

– Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

– Вы меня очень любите? – спросила она наконец. – Да?

Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?

– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Все мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить… И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело… боже мой, как тяжело!

– Отчего? – спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее – и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад – и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно…

– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы

поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду… Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдемте. У мамаши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь… что делать! вы когда-нибудь узнаете… только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный
Тебя нежданно покорил? –

воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

X

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал – и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена – это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался – или мне показалось, что я сделался – чрезвычайно проницателен. «Не он ли? или уж не он ли?» – спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее

время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче – невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

– Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек, – сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) – Вам бы надобно учиться, работать – пока вы молоды, – а вы что делаете?

– Вы не можете знать, работаю ли я дома, – возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

– Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю… в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

– Я вас не понимаю, – заметил я.

– Не понимаете? тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожица еще нежная; здесь для вас воздух вредный – поверьте мне, заразиться можете.

– Как так?

– Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, – полезно вам, хорошо?

– Да что же я чувствую? – сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

– Эх, молодой человек, молодой человек, – продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное, – где вам хитрить, ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)… если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

– А что же такое делается? – подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

– Хорош же и я, – промолвил он, словно про себя, – очень нужно это ему говорить. Одним словом, – прибавил он, возвысив голос, – повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет! и в оранжерее тоже приятно пахнет – да жить в ней нельзя. Эй! послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

– Вот, – прибавила княгиня, – господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?

– Зачем вы это делаете? – спросил Лушин.

– А что из этого может выйти?

– Что? вы можете простудиться и умереть.

– В самом деде? Неужели? Ну что ж – туда и дорога!

– Вот как! – проворчал доктор. Княгиня ушла.

– Вот как, – повторила Зинаида. – Разве жить так весело? оглянитесь-ка кругом… Что – хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие – пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, – я уже о счастии не говорю.

– Ну да, – заметил Лушин, – каприз и независимость… Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

– Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить… куда как весело! – а что до независимости… Мсьё Вольдемар, – прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, – не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют. – Она быстро удалилась.

– Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек, – еще раз сказал мне Лушин.

XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.

– Но знаете ли что? – сказала она ему, – если б я была поэтом, – я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, – но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например… Вы не будете надо мной смеяться?

– Нет! нет! – воскликнули мы все в один голос.

– Я бы представила, – продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, – целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке – на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в

венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

– Понимаю, понимаю, продолжайте, – значительно и мечтательно промолвил Майданов.

– Вдруг – шум, хохот, факелы, бубны на берегу… Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт… только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш – и золота, много золота.

– Где же должно быть золото? – спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

– Где? на плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн – они не могут его продолжать, – но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается… Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются… Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту… Представьте тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» – подумал я опять.)

– И только? – спросил Майданов.

– Только, – отвечала она.

– Это не может быть сюжетом для целой поэмы, – важно заметил он, – но для лирического стихотворения я вашей мыслию воспользуюсь.

– В романтическом роде? – спросил Малевский.

– Конечно, в романтическом роде, байроновском.

– А по-моему, Гюго лучше Байрона, – небрежно промолвил молодой граф, – интереснее.

– Гюго – писатель первоклассный, – возразил Майданов, – и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»…

– Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? – перебила Зинаида.

– Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев…

– Ну! вы опять заспорите о классицизме и романтизме, – вторично перебила его Зинаида. – Давайте лучше играть…

– В фанты? – подхватил Лушин.

– Нет, в фанты скучно; а в сравненья. (Эту игру придумала сама

Зинаида: назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

– На что похожи эти облака? – спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: – Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

– А сколько лет было тогда Антонию? – спросила Зинаида.

– Уж, наверное, был молодой человек, – заметил Малевский.

– Да, молодой, – уверительно подтвердил Майданов.

– Извините, – воскликнул Лушин, – ему было за сорок лет.

– За сорок лет, – повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.

Я скоро ушел домой. «Она полюбила, – невольно шептали мои губы. – Но кого?»

XII

Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась… все лицо ее было облито слезами.

– А! вы! – сказала она с жестокой усмешкой. – Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

– Больно… – проговорил я, наконец.

– А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она.

– Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. – Это вас, быть может, утешит немного… а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки

происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme capable de tout.[72] Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку: я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон… вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости… Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

– Что это вы делаете там, на такой вышине? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною – и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться… ведь я люблю тебя… встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг – что сталось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями… они коснулись моих губ… Но

тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:

– Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так… что за глупости? вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня… Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она, словно про себя. – Ступайте домой, мсьё Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда… Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу… ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.

XIII

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастие, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, – и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел… «Заговорить самому о вчерашнем деле, – подумал я, – спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно…»,

но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

– Не нашел я вам верховой лошади, смирной, – заговорил он суровым голосом, – Фрейтаг мне ручается за одну – да я не уверен. Боюсь.

– Чего же вы боитесь, – спросила Зинаида, – позвольте спросить?

– Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

– Ну, это мое дело, мсьё мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича… (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей.)

– Вот как, – возразил Беловзоров. – Вы это с ним хотите ездить?

– С ним или с другим – это для вас все равно. Только не с вами.

– Не со мной, – повторил Беловзоров. – Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

– Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать.

– Скачите, пожалуй… С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

– А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь, – прибавила она, – и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский – фи! – Она тряхнула головой.

– Вы это говорите, чтобы меня утешить, – проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

– Это вас утешает?.. О… о… о… воин! – сказала она наконец, как бы не найдя другого слова. – А вы, мсьё Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

– Я не люблю… в большом обществе… – пробормотал я, не поднимая глаз.

– Вы предпочитаете tête-à-tête?..[73] Ну, вольному воля, спасенному… рай, – промолвила она вздохнувши. – Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

– Да; а деньги откуда взять? – вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

– Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

– Поверит, поверит… – проворчала княгиня – и вдруг во все горло закричала: – Дуняшка!

– Maman, я вам подарила колокольчик, – заметила княжна.

– Дуняшка! – повторила старуха. Беловзоров откланялся; я ушел

вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию – но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве – взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму… «Другие для нее лучше меня, – думал я, – пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду, – и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение: «О, Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке… Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и сиял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый

конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза – и оба поскакали… Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак, – подумал я, – а она… Отчего она такая бледная? ездила верхом целое утро – и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Journal des Débats»;[74] но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», – хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться – как они выражались – на свое дежурство – всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами – и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

– Вам я ничего не хочу сказать, – отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление – я не мог этого не заметить – производило на нее впечатление неприятное. Она невольно

отворачивалась от меня… невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего – и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена – в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел: над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно – и ждал, не отворится ли оно: точно – оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье – и сама она, ее лицо, плечи, руки – были бледны до белизны. Она долго оставалась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу – и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

– Дайте мне руку, – сказала она мне с прежней лаской, – мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

– Вы все еще нездоровы? – спросил я ее.

– Нет, теперь все прошло, – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. – Я немножко устала, но и это пройдет.

– И вы опять будете такая же, как прежде? – спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу – и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

– Разве я изменилась? – спросила она меня.

– Да, изменились, – ответил я вполголоса.

– Я с вами была холодна – я знаю, – начала Зинаида, – но вы не должны были обращать на это внимания… Я не могла иначе… Ну, да что об этом говорить!

– Вы не хотите, чтоб я любил вас – вот что! – воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

– Нет, любите меня – но не так, как прежде.

– Как же?

– Будемте друзьями – вот как! – Зинаида дала мне понюхать розу. – Послушайте, ведь я гораздо старше вас – я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы…

– Я для вас ребенок, – перебил я ее.

– Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства, – прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, – знак нашей к вам милости.

– Я от вас прежде получал другие милости, – пробормотал я.

– А! – промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. – Какая у него память! Что ж! Я и теперь готова…

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее – а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», – пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею – и все недоумевал. «Неужели, – думал я, – эта кроткая, рассудительная девушка – та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише – вся ее фигура величественнее и стройней…

И боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

XVI

После обеда опять собрались во флигеле гости – и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех – он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачеств и шума – цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить.

– Коли уж дело пошло на сочинения, – сказала она, – так пускай

каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову.

Молодой гусар смутился.

– Я ничего выдумать не могу! – воскликнул он.

– Какие пустяки! – подхватила Зинаида. – Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

– Я бы ее запер.

– И сами бы сидели с ней?

– И сам непременно сидел бы с ней.

– Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

– Я бы ее убил.

– А если б она убежала?

– Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

– Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали?

Беловзоров помолчал.

– Я бы себя убил…

Зинаида засмеялась.

– Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

– Вот, послушайте, – начала она, наконец, – что я выдумала… Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

– Вы любите роскошь? – перебил ее Лушин.

– Роскошь красива, – возразила она, – я люблю все красивое.

– Больше прекрасного? – спросил он.

– Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

– Женщин нет в числе гостей? – спросил Малевский.

– Нет – или погодите – есть.

– Все некрасивые?

– Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду – и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властию, что я подумал: «Ты сама

эта королева!»

– Все толпятся вокруг нее, – продолжала Зинаида, – все расточают перед ней самые льстивые речи.

– А она любит лесть? – спросил Лушин.

– Какой несносный! все перебивает… Кто ж не любит лести?

– Еще один, последний вопрос, – заметил Малевский. – У королевы есть муж?

– Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?

– Конечно, – подхватил Малевский, – зачем муж?

– Silence![75] – воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.

– Merci,[76] – сказала ему Зинаида. – Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан: он белеет во мраке – длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами… а там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду, – и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана…

Зинаида умолкла.

– Это выдумка? – хитро спросил Малевский. Зинаида даже не посмотрела на него.

– А что бы мы сделали, господа, – вдруг заговорил Лушин, – если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана?

– Постойте, постойте, – перебила Зинаида, – я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал.

Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму… Впрочем, нет – вы не умеете писать эпиграмм: вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье,[77] и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе».[78] Вы, Нирмацкий, заняли бы у него… нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты; вы, доктор… – Она остановилась. – Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

– По званию лейб-медика, – отвечал Лушин, – я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей…

– Может быть, вы были бы правы. А вы, граф?..

– А я? – повторил со своей недоброй улыбкой Малевский…

– А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

– Что же касается до вас, Вольдемар… – продолжала Зинаида, – впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

– Мсьё Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, – ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

– Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться. – Она указала ему на дверь.

– Помилуйте, княжна, – пробормотал Малевский и весь побледнел.

– Княжна права, – воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

– Я, ей-богу, никак не ожидал, – продолжал Малевский, – в моих словах, кажется, ничего не было такого… у меня и в мыслях не было оскорбить вас… Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

– Пожалуй, останьтесь, – промолвила она с небрежным движением руки. – Мы с мсьё Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться… на здоровье.

– Простите меня, – еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи – и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым», – шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня выслала сказать, что у ней голова болит, Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы…

Я долго не мог заснуть, меня поразил рассказ Зинаиды.

– Неужели в нем заключался намек? – спрашивал я самого себя, – и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть… как же решиться? Нет, нет, не может быть, – шептал я,

переворачиваясь с одной горячей щеки на другую… Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа… я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною – и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое зловещее облако повисло надо мною – и я чувствовал его давление – и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтёрханные горничные, манеры самой княгини – вся эта странная жизнь уже не поражала меня более… Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, – я привыкнуть не мог… «Авантюрьерка»,[79] – сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка – она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку, я негодовал – и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана!..

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад… фонтан… – подумал я. – Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце – крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг – или это мне почудилось? – в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура… Я усиленно устремил взор в темноту – я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся – или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» – пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?.. или шорох в листьях… или вздох над самым ухом? Мне стало страшно… «Кто здесь?» – повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатилась. «Зинаида?» – хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в средине ночи… Даже кузнечики перестали трещать в деревьях – только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание – и остался одиноким и прошел мимо чужого счастия.

XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездила куда-то с княгинею на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

– Ah, monsieur le page![80] – начал Малевский, – очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту – и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

– Вы все сердитесь? – продолжал он. – Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

– Как так?

– Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны все знать, что они делают, они должны даже наблюдать за ними, – прибавил он, понизив голос, – днем и ночью.

– Что вы хотите сказать?

– Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем – и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло и людно; но ночью – тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните – в саду, ночью, у фонтана – вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значенья тому, что сказал мне; он имел репутацию отличного фальсификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто все его существо… Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! Вот что! – сказал я самому себе, – добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!» – воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я собственно и не знал – чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад, – думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет), – другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее), – но только несдобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещились: Алеко, молодой цыган – «Куда, красавец молодой? – Лежи…», а потом: «Ты весь обрызган кровью!.. О, что ты сделал?..» – «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробило одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я выжидал полночи; наконец, пробила и она. «Пора!» – шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч – и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновенья ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился, я только соображал: как мне поступить? Загреметь ли: «Куда идешь? Стой! сознайся – или смерть!» – или просто поразить… Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным… Я готовился… Я наклонился вперед… Но прошло полчаса, прошел час; кровь моя утихала, холодела; сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, – начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; все покоилось; даже собака наша

спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался…

Я вздрогнул… Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины – и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги неслышно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он… Вот он, наконец!» – промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его – какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы… Шаги направлялись прямо на меня – я сгибался, я тянулся им навстречу… Показался человек… боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника… Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду», – когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг – цвет их стал изменяться… За ними – я это видел, видел явственно – осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы – и так и осталась неподвижной.

– Что ж это такое? – проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. – Сон, случайность или… – Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью – точно во мне что-то умирало.

– Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину

мозга? – сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось… Но он даже не поласкал меня своей вседневною, холодною лаской. «Рассказать все Зинаиде?.. – подумал я. – Ведь уж все равно – все кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей – даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию[81] приехал из Петербурга родной ее сын, кадет,[82] лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

– Вот вам, – сказала она, – мой милый Володя (она в первый раз так меня называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи – а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

– Да обнимитесь же, дети! Мы обнялись.

– Хотите, я вас поведу в сад? – спросил я кадета.

– Извольте-с, – отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась… Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

– Да вы расстегните свой воротник, – сказал я ему.

– Ничего-с, мы привыкли-с, – проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру: особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок, – думал я, – а вчера…» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори,[83] вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он

так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

– Что с вами? что с вами, Володя? – твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

– Я все знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

– Я виновата перед вами, Володя… – промолвила Зинаида. – Ах, я очень виновата… – прибавила она и стиснула руки. – Сколько во мне дурного, темного, грешного… Но я теперь не играю вами, я вас люблю – вы и не подозреваете, почему и как… Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня – а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела… Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела.

XIX

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозренья, надежды, радости и страданья кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал… детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят; отца я избегал – но Зинаиду избегать я не мог… Меня жгло как огнем в ее присутствии… но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял, – благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди… Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось… громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное… Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре – я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена (а в девичьей все было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски – да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и все понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

– А произошла вся беда, – продолжал Филипп, – от безымянного письма; а кто его написал – неизвестно; а то бы как этим делам наружу

выйти, причины никакой нет.

– Да разве что-нибудь было? – с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели, и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

– Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен – да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что… без людей не обойдешься тоже.

Я услал Филиппа – и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался, – я даже не роптал на отца… То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня… Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уже не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала – однако не показалась и решения своего не переменила. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель – а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, – и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка – ну, и все-таки княжна, – решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный,

и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это – любовь, это – страсть, это – преданность… и вспоминались мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно… «Неужели это лицо Зинаиды?» – подумал я… точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопрятно-небрежным приветом.

– Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? – промолвила она, забивая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово «вексель», сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала… по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты, в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

– Я услышала ваш голос, – начала она, – и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

– Я пришел с вами проститься, княжна, – отведал я, – вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали – мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

– Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какою вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

– Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

– Я?

– Да, вы… вы.

– Я? – повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. – Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

– Прощайте, прощайте, – твердил я…

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать

чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах… пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

– Ага! – промолвил он и нахмурил брови. – Это вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

– Ну, ничего, – продолжал Лушин, – не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А что пользы? Куда бы волна ни понесла – все худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю… а Беловзоров – слыхали вы?

– Что такое? нет.

– Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь… – думал я, – не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыжечалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.

– Давай лучше играть в чехарду, – отвечал мне отец, – а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

– Поспею; я тоже шпоры надену.

– Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый: правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули чрез несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, – и я перестал бояться), переехали дважды чрез Москву-реку – и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный pur sang.[84] Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

– Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец; потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется, – подумал я, – и я пропал…» – но странное чувство, чувство сильнее любопытства,

сильнее даже ревности, сильнее страха – остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо – печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния – я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась – покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове – что у него всегда служило признаком нетерпения… Потом послышались слова: «Vous devez vous séparer de cette…»[85] Зинаида выпрямилась и протянула руку… Вдруг в глазах моих свершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, – и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом… Зинаида обернулась – и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства – и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел… Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я… бьют… бьют…

– Ну, что же ты – давай мне лошадь! – раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика… прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени… но скоро отец укротил его; он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее… «Эх, хлыста нету», – пробормотал он.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

– Куда ж ты дел его? – спросил я отца погодя немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

– Ты соскучился без меня? – проговорил он сквозь зубы.

– Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? – спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

– Я его не уронил, – промолвил он, – я его бросил.

Он задумался и опустил голову… и тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь, – говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги, – это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можно, если любишь… А я-то… я-то воображал…»

Последний месяц меня очень состарил – и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке…

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату… Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта… а сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало… Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой, – писал он мне, – бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы…» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

XXII

Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не

знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же ненужно восторгался и так же внезапно падал духом.

– Вы знаете, – сказал он мне, – между прочим, госпожа Дольская здесь.

– Какая госпожа Дольская?

– Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного.

– Она замужем за Дольским?

– Да.

– И она здесь, в театре?

– Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу.

– Что за человек ее муж? – спросил я.

– Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете – после той истории… вам это все должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбнулся)… ей не легко было составить себе партию; были последствия… но с ее умом все возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились… я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела: прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую – я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов.

Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда – эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» – повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел, не зная сам куда. Все прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри – в тесном ящике, в сырой подземной тьме – тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца… Я все это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,

И равнодушно ей внимал я… –

звучало у меня в душе. О молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу – смотрите! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег… И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать – а в возможности думать, что ты все сделаешь, – состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела, – в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!»

Вот и я… на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевещу на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала от меду счастия – казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы, – старушка все крестилась и все шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои», – и только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца – и за себя.

Стихотворения в прозе

Нищий

Я проходил по улице… меня остановил нищий, дряхлый старик.

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны… О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку… Он стонал, он мычал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех карманах… Ни кошелька, ни часов, ни даже платка… Я ничего не взял с собою.

А нищий ждал… и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку… «Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат».

Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись – и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.

– Что же, брат, – прошамкал он, – и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние
от моего брата.

Февраль, 1878

Порог

Сон

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью – угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка… Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

– О ты, что желаешь преступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

– Знаю, – отвечает девушка.

– Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

– Знаю.

– Отчуждение полное, одиночество?

– Знаю… Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

– Не только от врагов – но и от родных, от друзей?

– Да… и от них.

– Хорошо. Ты готова на жертву?

– Да.

– На безымянную жертву? Ты погибнешь – и никто… никто не будет знать, чью память почтить!..

– Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

– Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову…

– И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

– Знаешь ли ты, – заговорил он, наконец, – что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

– Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

– Войди!

Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею.

– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.

– Святая! – пронеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878

Памяти Ю. П. Вревской

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на

скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… Она не ведала другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена… Дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасиба даже ее трупу – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасиба.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878

«Как хороши, как свежи были розы»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною… но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы…

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы…

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка – и безмолвно и пристально

смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, – но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы…

А в комнате все темней да темней… Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною – и чудится скучный, старческий шепот…

Как хороши, как свежи были розы…

Встают передо мною другие образы… Слышится веселый шум семейной, деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино – и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара…

Как хороши, как свежи были розы…

Свеча меркнет и гаснет… Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ… Мне холодно… Я зябну… и все они умерли… умерли…

Как хороши, как свежи были розы…

Сентябрь, 1879

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июль, 1878

Два богача

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

– Возьмем мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на нее пойдут, не на что будет соли добыть, похлебку посолить…

– А мы ее… и не соленую, – ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878

Романы

Дворянское гнездо

I

Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины: одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, – человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, – умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О…, в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы, и в то же время Калитин приобрел дом в городе О…, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, – решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, – в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О…

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

– О чем ты это? – спросила она вдруг Марью Дмитриевну. – О чем вздыхаешь, мать моя?

– Так, – промолвила та. – Какие чудесные облака!

– Так тебе их жалко, что ли?

Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

– Что это Гедеоновский нейдет? – проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала большой шерстяной шарф). – Он бы повздыхал вместе с тобою, – не то соврал бы что-нибудь.

– Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович – почтенный человек.

– Почтенный! – повторила с укоризной старушка.

– И как он покойному мужу был предан! – проговорила Марья Дмитриевна, – до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

– Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил, – проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

– Глядит таким смиренником, – начала она, снова, – голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще

статский советник! Ну, и то сказать: попович!

– Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

– Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит, – эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, – прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. – Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

– Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

– Уж вы, тетушка, всегда… – пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

– Сергей Петрович Гедеоновский! – пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

II

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстухах – одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил:

– А Елизавета Михайловна здоровы?

– Да, – отвечала Марья Дмитриевна, – она в саду.

– И Елена Михайловна?

– Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?

– Как не быть-с, как не быть-с, – возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. – Гм!.. да вот пожалуйте, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.

– Федя! – воскликнула Марфа Тимофеевна. – Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?

– Никак нет-с, я их самолично видел.

– Ну, это еще не доказательство.

– Очень поздоровели, – продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, – в плечах еще шире стали, и румянец во вею щеку.

– Поздоровел, – произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, – кажется, с чего бы ему здороветь?

– Да-с, – возразил Гедеоновский, – другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.

– Это отчего? – перебила Марфа Тимофеевна, – это что за вздор? Человек возвратился на родину – куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

– Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

– Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

– Позвольте полюбопытствовать, – спросил он после небольшого молчания, – кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

– А тому назначается, – возразила она, – кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, – прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. – А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне; я уйду, мешать не буду. – И Марфа Тимофеевна удалилась.

– Вот она всегда так, – проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами, – всегда!

– Лета ихние! Что делать-с! – заметил Гедеоновский. – Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал: что нонеча, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается – все норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку.

Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

– Так видели вы его? В самом деле он – ничего, здоров, весел?

– Весел-с, ничего-с, – возразил Гедеоновский шепотом.

– А не слыхали вы, где его жена теперь?

– В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.

– Это ужасно, право, – Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.

Гедеоновский вздохнул.

– Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пиянистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно…

– Очень, очень жалко, – проговорила Марья Дмитриевна. – По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.

– Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.

– Придет он к нам, как вы думаете?

– Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.

Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.

– Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!

– Женщина женщине рознь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастию, такие – нрава непостоянного… ну, и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но вообще говоря, если рассудить, то есть… Пыль в городе необыкновенная, – заключил он.

– Maman, maman, – вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати, – к нам Владимир Николаевич верхом едет!

Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», – проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.

– Какая у него чудесная лошадь! – продолжала девочка. – Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.

Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.

III

– Здравствуйте, Марья Дмитриевна! – воскликнул звучным и приятным голосом всадник. – Как вам нравится моя новая покупка?

Марья Дмитриевна подошла к окну.

– Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

– У ремонтера… Дорого взял, разбойник.

– Как ее зовут?

– Орландом… Да это имя глупо; я хочу переменить… Eh bien, eh bien, mon garçon…[86] Какой неугомонный!

Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.

– Леночка, погладьте ее, не бойтесь…

Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.

– Prenez garde, prenez garde,[87] – твердила Марья Дмитриевна.

– Леночка, поласкайте его, – возразил всадник, – я не позволю ему вольничать.

Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.

– Браво! – воскликнула Марья Дмитриевна, – а теперь слезьте и придите к нам.

Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из дверей передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая черноволосая девушка лет девятнадцати – старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.

IV

Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних дел. В город О… он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень

надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он, по-своему, заботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях – можно, c'est même très chic,[88] как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володьке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов; где нужно – почтителен, где можно – дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon.[89] Заветная область раскрылась перед ним.

Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, – не хуже отца; но он был также очень даровит. Все ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитер, и во

время самого буйного кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О… и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.

Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.

– И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? – спросила его Марья Дмитриевна.

– Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.

Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

– Вы изволите говорить, что я обыграл вас, – промолвил Гедеоновский, – а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще…

– Злодей, злодей, – перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.

– Я не мог найти здесь увертюру Оберона, – начал он. – Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, – на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати, – продолжал он, – я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат, – я желаю знать ваше

мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.

– Зачем же после? – вмешалась Марья Дмитриевна, – отчего же не теперь?

– Слушаю-с, – промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг, – пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:

Луна плывет высоко над землею
Меж бледных туч;
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.
Моей души тебя признало море
Своей луной,
И движется – и в радости и в горе –
Тобой одной.
Тоской любви, тоской немых стремлений
Душа полна;
Мне тяжело… Но ты чужда смятений,
Как та луна.

Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело…» – он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос – morendo.[90] Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.

– А! Христофор Федорыч, здравствуйте! – воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. – Я и не подозревал, что вы здесь, – я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.

– Я не слушиль, – произнес дурным русским языком вошедший

человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.

– Вы, мосье Лемм, – сказала Марья Дмитриевна, – пришли дать урок музыки Лизе?

– Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.

– А! Ну, что ж – прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.

Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.

– Не уходите после урока, Христофор Федорыч, – сказал он, – мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки.

Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:

– Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, – прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку, – напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется, – сказала она, – еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза: она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.

V

Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде – и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и,

подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой; но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, – словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решил остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастие: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастием: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О… и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе.

Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному

германскому племени, Лемм со временем – кто знает? – стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку – и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело, как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, – да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на все; притом и годы брали свое: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О… в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, Х. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, für Sie allein». Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.

VI

Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально.

– Что с вами? – спросил он.

– Зачем вы не сдержали своего слова? – сказала она. – Я вам

показала кантату Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.

– Виноват, Лизавета Михайловна, – к слову пришлось.

– Вы его огорчили – и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.

– Что прикажете делать, Лизавета Михайловна! От младых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.

– Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец, бедный, одинокий, убитый человек – и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?

Паншин смутился.

– Вы правы, Лизавета Михайловна, – промолвил он. – Всему виною – моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.

Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

– Вот и в вашем доме, – продолжал он, – матушка ваша, конечно, ко мне благоволит – она такая добрая; вы… впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?

– Да, – произнесла Лиза с небольшой запинкой, – вы ей не нравитесь.

Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.

– Ну, а вы? – промолвил он, – я вам тоже кажусь эгоистом?

– Я вас еще мало знаю, – возразила Лиза, – но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам…

– Знаю, знаю, что вы хотите сказать, – перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам, – за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать – и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я – как, бишь, это сказано? – для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.

– Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, – промолвила Лиза, – вот и все.

Паншин немного нахмурился.

– Послушайте, – сказал он, – не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, – прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитре тетради, – думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом – так и быть! но не называйте меня светским человеком: эта кличка мне нестерпима… Anch'io sono pittore.[91] Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, – я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.

– Начнем, пожалуй, – сказала Лиза.

Первое adagio прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты – довольно быстрое allegro – совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.

– Нет! – воскликнул он, – я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал: он бы в обморок упал.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.

– Что же мы будем делать? – спросила она.

– Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза – муза рисования, как, бишь, ее звали? позабыл… будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.

Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.

– Ага! – воскликнул он, – я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж – и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только – дайте-ка карандаш – не довольно сильно положены тени. Смотрите.

И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.

– В рисунке, да и вообще в жизни, – говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, – легкость и смелость – первое дело.

В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись,

хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.

– Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? разве вы не остаетесь чай пить?

– Мне домой, – проговорил Лемм угрюмым голосом, – голова болит.

– Ну, что за пустяки, – останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.

– Голова болит, – повторил старик.

– А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату, – продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, – но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.

– Вы бы опять спел сфой романце лутчи, – возразил Лемм, отводя руки Паншина, и вышел вон.

Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.

– Христофор Федорыч, послушайте, – сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, – я виновата перед вами – простите меня.

Лемм ничего не отвечал.

– Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее оценит, – и она, точно, очень ему понравилась.

Лемм остановился.

– Это ничего, – сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: – но он не может ничего понимать; как вы этого не видите? Он дилетант – и все тут!

– Вы к нему несправедливы, – возразила Лиза, – он все понимает и сам почти все сможет сделать.

– Да, все второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен – ну и браво. А я не сержусь; эта кантата и я – мы оба старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.

– Простите меня, Христофор Федорыч, – проговорила снова Лиза.

– Ничего, ничего, – повторил он опять по-русски, – вы добрая девушка… а вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.

И Лемм уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему (он кланялся всем новым лицам в городе О…; от знакомых он отворачивался на улице –

такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.

VII

– Вы меня не узнаете, – промолвил он, снимая шляпу, – а я вас узнал, даром что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?

– Матушка будет очень рада, – возразила Лиза, – она слышала о вашем приезде.

– Ведь вас, кажется, зовут Елизавета? – промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.

– Да.

– Я помню вас хорошо; у вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь; я вам тогда возил конфекты.

Лиза покраснела и подумала: какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина; он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.

– Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin![92] – воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом, – как я рада вас видеть!

– Здравствуйте, моя добрая кузина, – возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. – Как вас господь милует?

– Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иваныч. Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь, Лизу…

– Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне, – перебил ее Лаврецкий.

– Мсье Паншин… Сергей Петрович Гедеоновский… Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?

– Как изволите видеть: процветаю. Да и вы, кузина, – как бы вас не сглазить, – не похудели в эти восемь лет.

– Как подумаешь, сколько времени не видались, – мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. – Вы откуда теперь? Где вы оставили… то есть я хотела сказать, – торопливо подхватила она, – я хотела сказать, надолго ли вы к нам?

– Я приехал теперь из Берлина, – возразил Лаврецкий, – и завтра же отправляюсь в деревню – вероятно, надолго.

– Вы, конечно, в Лавриках жить будете?

– Нет, не в Лавриках; а есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я туда еду.

– Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?

– Та самая.

– Помилуйте, Федор Иваныч! У вас в Лавриках такой чудесный дом!

Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови.

– Да… но и в той деревушке есть флигелек; а мне пока больше ничего не нужно. Это место – для меня теперь самое удобное.

Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко; но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее: здорова ли она?

– Слава богу, – возразила Марья Дмитриевна, – а что?

– Так, мне показалось, что вам не по себе.

Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, – подумала она, – мне совершенно все равно; видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась; вслух она говорила изящнее.

Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навыкате, и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно.

Паншин между тем продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом.

– А ведь это Федя! – раздался вдруг в соседней комнате за

полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны, – Федя, точно! – И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. – Покажи-ка себя, покажи-ка, – промолвила она, отодвигаясь от его лица. – Э! да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел нисколько, право. Да что ты руки у меня целуешь – ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой! Ну, да это все равно; где тебе было обо мне вспомнить! Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, – прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, – угостила ты его чем-нибудь?

– Мне ничего не нужно, – поспешно проговорил Лаврецкий.

– Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойди похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит.

– Мое почтение, Марфа Тимофеевна, – промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.

– Извините меня, государь мой, – возразила Марфа Тимофеевна, – не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку, – продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому, – только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну – и надолго ты к нам?

– Я завтра еду, тетушка.

– Куда?

– К себе, в Васильевское.

– Завтра?

– Завтра.

– Ну коли завтра, так завтра. С богом, – тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься. – Старушка потрепала его по щеке. – Не думала я дождаться тебя; и не то чтоб я умирать собиралась; нет – меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Паншину (она никогда не называла его, как следовало, Паншиным) рассуждать

помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные – не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.

Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.

В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом; к чему тут слова, когда и так все ясно». Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала… Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.

VIII

Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца: это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое именье, дворню избаловал. Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей – дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреича была смиренница; он взял ее из соседнего семейства, по отцовскому выбору и приказанию; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают – не отмоешь потом; а в гости без пудры нельзя –

обидятся, – мука! Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу: а все свое приданое, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей: сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру.

Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, fine fleur[93] эмиграции, – и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого финь-флёра: перевела на его имя все свое состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй a la Richelieu,[94] окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV, с эмалевой табакеркой работы Петито в руках, – и умерла, оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар – мы говорим о браке княжны, не об ее смерти – над ним разразился; он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика; в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (все это происходило в самом начале царствования императора Александра); пришлось ему, поневоле, вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем, – говаривал он, – за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой! А все оттого, что Волтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. Петр Андреич не

ошибался: точно, и Дидерот и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни – и Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, и много других, подобных им, сочинителей сидели в его голове, – но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением… Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них. Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял; он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе.

Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения: она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?». Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки; невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого разу приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силой души, как только русские девушки умеют привязаться – и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей; весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреича. В другое время он, вероятно, не обратил бы

внимания на такое маловажное дело; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам: Маланью заперли в чулан; Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве; кстати выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но, когда отец вздумал грозить ему постыдным наказаньем, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене, – подумал он, – так пущу же я его в дело, постойте; я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно – готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновенье; но тотчас же опомнился и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался a la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосиные панталоны в обтяжку.

Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики… «Стой, мошенник! – вопил он, – стой! прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой

день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов, с своею сестрой, уже знакомою читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, но ответа не пришло, – и прийти не могло. Петр Андреич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича; только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала пятьсот рублей ассигнациями да образок его жене; написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по шестидесяти верст, чтоб он не очень огорчался, что, бог даст, все устроится и отец переложит гнев на милость; что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволенья повидаться с новою барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал восвояси.

А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенской жизнью, а главное – не выдал своих наставников, действительно «пустил в ход» и оправдал на деле Руссо, Дидерота и la Declaration des droits de l’homme. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано; надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло: княжна Кубенская, – которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, – чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей – едва ли не последние свои денежки – да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем (пароходов тогда еще в помине не было) уплыл

за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк; но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича: он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств: он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис (классические названия еще процветали в то время); Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.

IX

Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу; если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою; но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи! не смей! – твердил Петр Андреич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость, – ему, щенку, должно вечно за меня бога молить, что я клятвы на него не положил; покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна, при таких страшных речах, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреич сначала и слышать о ней не хотел и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить; но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же

послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреич молча поглядел на нее; она подошла к его руке; ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй.

– Ну, сыромолотная дворянка, – проговорил он наконец, – здравствуй, пойдем к барыне.

Он встал и нагнулся к Феде; ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло.

– Ох, – промолвил он, – сиротливый! Умолил ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчик.

Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить…

– Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, – промолвил Петр Андреич, – не печалься: она останется у нас, и Ваньку для нее помилую.

Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало.

Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его; подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась: она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею.

Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось; она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой, – и какою еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и

Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтоб Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были… но Федю у нее отняли: вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него; Глафира взялась за это дело; ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее; сам Петр Андреич желал видеть своего сына; но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре – и не ехал. Двенадцатый год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах; не до того было тогда: вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась; Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его; она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись: муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения; с той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Маланье Сергеевне ее горничные да еще Петр Андреич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости – прощай, моя безответная!» – прошептал он, кланяясь ей в последний раз, в церкви.

Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу.

Он сам недолго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился тогда в Париже, для своего удовольствия; он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло двенадцать лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.

X

Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством, воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – все в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но – чудное дело! превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и т.д. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, – отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе их пострадали две старухи, одна – слепая, другая – разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого, по

причине его действительно замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек.

Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики; завтрак стал иначе подаваться; иностранные вина изгнали водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась подпись: «in recto virtus…»[95] В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться – лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – все осталось по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу: патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде: воспитание его действительно подверглось «коренному преобразованию»: отец исключительно занялся им.

XI

До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже было сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? сиди смирно». По воскресеньям, после обедни,

позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием: «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием: «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка», означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку с своими «Эмблемами» – сидит… сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно Парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его… Горе сердцу, не любившему смолоду!

Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme,[96] – сказал он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски; двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с

петушьим пером на складном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день по одному блюду; ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления, а Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его mon fils[97] и говорил ему vous.[98] По-русски Федя говорил отцу: «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым.

Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило. Вольнодумец – начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец – стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленной волей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме; опять

начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к «старой колотовке» – так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет, – неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день.

Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних, чтобы они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете – экая чепуха!»

Особенно доставалось Глафире Петровне; он решительно не мог обойтись без нее – и она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша! Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур…» – пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого

весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.

XII

Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми: двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении… И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, – и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей; они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно

стал виновником важной перемены в его судьбе.

Однажды, в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку, – и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстуке, с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого по всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем, как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу: она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали; под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем… Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина: он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой, – воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе, – эта девушка – изумительное, гениальное существо, артистка

в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них, как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он с своею робостью; на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, – и оба отправились к Коробьиным.

XIII

Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фрунтовиком, находился, по бедности, адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров; тянул, тянул лямку и, наконец, годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние; он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело: он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги, – средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился: на него донесли; вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула: ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место; но место на него не наскакивало; дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем… Скрепя сердце решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя две тысячи семьсот пятьдесят рублей в год. Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок, с косицами крашеных волос и засаленной анненской лентой на галстухе цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных

столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе; говорил мало, но, по старой привычке, в нос, – конечно, не с лицами чинов высших; осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего: звали ее Каллиопой Карловной; из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна (притом же она была немецкого происхождения) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из …ского института, где считалась если не первою красавицей, то уж наверное первою умницей и лучшею музыкантшей и где получила шифр; ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.

XIV

Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, – и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски-проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда; Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали; за столом генерал потчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал

к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить; все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом; вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято; генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат; а Каллиопа Карловна подумала: «Meine Tochter macht eine schöne Partie»,[99] – и купила себе новый ток.

XV

Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет: кто же выходит за студента, да и что за странная мысль – помещику, богатому, в двадцать шесть лет брать уроки, как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много уменья доставлять себе этот комфорт. Это уменье особенно поразило Лаврецкого, когда, тотчас после свадьбы, он вдвоем с женой отправился в удобной, ею купленной каретке, в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной! Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам! Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений: он блаженствовал, упивался счастием; он предавался ему, как дитя… Он и был невинен, как дитя, этот юный Алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений; она сдержала больше, чем сулила. Приехавшая в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелою, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала

основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову; она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником; она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо, – сказала она, и глаза ее потемнели, – я вижу, что я здесь лишняя! знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин и, с приятною меланхолией во взглядах и движениях, принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге (на лето они переселялись в Царское Село), в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире; много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Иванычу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу; он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться, – и с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению

недоконченное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть куда), а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, – и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла премиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа; мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея; приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями; все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза; белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, – и как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и la belle madame de Lavretzki[100] скоро стала известна от Chaussee d'Antin do Rue de Lille.[101] В те времена (дело происходило в 1836 году) еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто m-r Jules, неблаговидной наружности господин, с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди.

Этот m-r Jules был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то m-me de L…tzki, то m-me de ***, cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P…,[102] рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не

было никакого дела до m-me L…tzki, как эта дама, настоящая по уму француженка (une vraie française par l'ésprit) – выше этого у французов похвал нет, – мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует (Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)… словом, пускал о ней молву по миру – а ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рашель еще не появлялась; тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской Комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост – прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иваныч, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах, – тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Sorbonne и Collége de France, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени, – думал он, – все это полезно; но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме; пока он ехал с женою в Баден-Баден… Неожиданный случай разрушил все его планы.

XVI

Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке:

«Милый ангел Бетси! (я никак не решаюсь назвать тебя Barbe или Варвара – Varvara). Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра к половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк (ton gros bonhomme de mari) об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта *Пускина* (de votre poëte Pouskine), которой ты меня научила: Старый муж, грозный муж! – Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя.

Эрнест».

Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел; прочел во второй

раз – и голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.

Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса; Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал… и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения; Варвара Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновенье он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его; он мог только прошептать: «Бетси», – и выбежал из дому.

Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, – зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате; он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним! «Ничего не понимаю! – шептали его засохшие губы. – Кто мне поручится теперь, что в Петербурге…» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали; ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела: «Старый муж, грозный муж!» Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед

мой сам был мужик», – да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так, вздор какой-то; что стоит только встряхнуться, оглянуться… Он оглядывался, и, как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом… Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся, наконец, в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку г-на Эрнеста с следующим письмом:

«Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати скажу вам, что я не узнал вас: вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. (Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов.) Я не могу больше вас видеть; полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам пятнадцать тысяч франков в год; больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте, что хотите; живите, где хотите. Желаю вам счастья. Ответа не нужно».

Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе… но он ждал, он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; последние его сомнения исчезли – и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже: но он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию; ему, в сущности, было все равно, куда ни ехать, – лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков; живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и, при всем своем горе, почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность; Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она

из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден; имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование; очень гадко сделалось на душе Федора Иваныча при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь; месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалованья. Потом стали ходить все более и более дурные слухи; наконец с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено: Варвара Павловна стала «известностью».

Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, все бы отдал, даже, пожалуй… простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем; его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно; самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным; он понял свою жену, – близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением: скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года четыре, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О…, где мы расстались с ним и куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами.

XVII

На другое утро, после описанного нами дня, часу в десятом, Лаврецкий всходил на крыльцо калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках.

– Куда вы? – спросил он ее.

– К обедне. Сегодня воскресенье.

– А разве вы ходите к обедне?

Лиза молча, с изумлением посмотрела на него.

– Извините, пожалуйста, – проговорил Лаврецкий, – я… я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню.

– Ведь это отсюда недалеко? – спросила Лиза.

– Верст двадцать пять.

На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной.

– Смотрите, не забывайте нас, – промолвила Лиза и спустилась с крыльца.

– И вы не забывайте меня. Да послушайте, – прибавил он, – вы идете в церковь: помолитесь кстати и за меня.

Лиза остановилась и обернулась к нему.

– Извольте, – сказала она, прямо глядя ему в лицо, – я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка.

В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычною своею томной любезностью и понемногу разговорилась.

– Не правда ли, – спросила она его, – какой Владимир Николаич приятный молодой человек!

– Какой это Владимир Николаич?

– Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились; я вам скажу по секрету, mon cher cousin,[103] он просто без ума от моей Лизы. Что ж! Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля божия… я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая; конечно, от родителей зависит счастие детей, да ведь и то сказать: до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь все я, везде я одна, как есть: и воспитала-то детей, и учила их, все я… я вот и теперь мамзель от госпожи Болюс выписала…

Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний,

своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню.

– А Лиза как вам нравится? – спросила она.

– Лизавета Михайловна прекраснейшая девица, – возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной».

Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу: из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти, с огромными глазами и вострым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти, в белом чепце и коричневой кургузой кацавейке на темном платье, по имени Настасьи Карповны Огарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота, Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску: и собачонку и девочку она нашла на улице; обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь; за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам недоедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье, в монастыре; сама подошла к ней в церкви (она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась), сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок; голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными, добрыми чертами и несколько смешным, вздернутым носом; она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем: она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из тысячи двухсот рублей ассигнациями; она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге: Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастья.

– А! Федя! – начала она, как только увидала его. – Вчера вечером ты не видел моей семьи: полюбуйся. Мы все к чаю собрались; это у

нас второй, праздничный чай. Всех поласкать можешь; только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?

– Сегодня. – Лаврецкий присел на низком стульце. – Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я и Лизавету Михайловну видел.

– Зови ее Лизой, отец мой, что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь.

– Она к обедне шла, – продолжал Лаврецкий. – Разве она богомольна?

– Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя.

– А вы разве не богомольны? – заметила, пришепетывая, Настасья Карповна. – И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете.

– Ан нет, – ты одна пойдешь: обленилась я, мать моя, – возразила Марфа Тимофеевна, – чаем уж очень себя балую. – Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на равной ноге – недаром же она была Пестова: трое Пестовых значатся в синодике Ивана Васильевича Грозного; Марфа Тимофеевна это знала.

– Скажите, пожалуйста, – начал опять Лаврецкий, – мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом… как бишь его?.. Паншине. Что это за господин?

– Экая она болтушка, прости господи! – проворчала Марфа Тимофеевна, – чай, под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим поповичем; нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу! а она уже болтает.

– Почему же слава богу? – спросил Лаврецкий.

– А потому, что молодец мне не нравится; да и чему тут радоваться?

– Не нравится он вам?

– Да, не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена.

Бедная вдова вся всполошилась.

– Что вы это, Марфа Тимофеевна, бога вы не боитесь! – воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее.

– И ведь знает, плут, – перебила ее Марфа Тимофеевна, – знает, чем ее прельстить: табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать; ты увидишь, табакерка какая славная: на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся.

Настасья Карповна только руками отмахивалась.

– Ну, а Лиза, – спросил Лаврецкий, – к нему неравнодушна?

– Кажется, он ей нравится, а впрочем, господь ее ведает! Чужая

душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу – поди, разбери! Зачем она прячется, а не уходит, с тех пор как ты пришел?

Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места.

– Да, – промолвил он с расстановкой, – девичью душу не разгадаешь.

Он стал прощаться.

– Что ж? скоро мы тебя увидим? – спросила Марфа Тимофеевна.

– Как придется, тетушка: тут ведь недалеко.

– Да, ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках – ну, это твое дело; только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу кстати. Ты там, за границей, всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить; вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это *я* по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была; ну и тебя не обидела. А теперь ступай с богом, а то я тебе надоем.

И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника.

– А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся; не такого мужа она стоит.

– Да я нисколько и не беспокоюсь, – отвечал Лаврецкий и удалился.

XVIII

Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной, мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел… и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми

кустами, серые деревеньки, жидкие березы – вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну – и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну – и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе.

«Вот, – подумал он, – новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет? Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушает со вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну». И Лаврецкий закрыл глаза.

Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему, не спеша, поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле… о французской истории… о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом; ему чудились выстрелы и крики… Голова его скользила набок, он открывал глаза… Те же поля, те же степные виды; стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра… «Хорош возвращаюсь я на родину», – промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» – запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Тарантас толкнуло: Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась

небольшая деревенька; немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком; по широкому двору, от самых ворот, росла крапива, зеленая и густая, как конопля; тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское.

Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей; лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал: «Гей!» Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось; лакей снова приготовился соскочить и снова закричал: «Гей!» Повторился дряхлый лай, и, спустя мгновенье, на двор, неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане, с белой, как снег, головой; он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку.

– Здравствуй, здравствуй, брат, – проговорил Лаврецкий, – тебя, кажется, Антоном зовут? Ты жив еще?

Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс.

«Вот я и дома, вот я и вернулся», – подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим и дневной свет проникал в опустелые покои.

XIX

Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых, вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна: с самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их.

Все в доме осталось как было: тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена; в гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда, Андрея Лаврецкого; темное, желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона; небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век; черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», – доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи; горка полинялых подушек и стеганое жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ Введение во храм Пресвятой Богородицы, тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева, с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой, стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка, с голыми стенами и тяжелым киотом в угле; на полу лежал истертый, закапанный воском коверчик; Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай; на место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови; голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в то же время – какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь; оказалось, что ее звали Апраксеей; лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей; впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестягольный мужичонка; он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что; не многим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого: она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он

весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной; но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своею громадностью и странным расположением сучьев; они были слишком тесно посажены и когда-то – лет сто тому назад – стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника.

Следы человеческой жизни глохнут очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской, беспокойной заразы. Федор Иваныч прошелся также по деревне; бабы глядели на него с порогу своих изб, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть; но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру; обоз с провизией из Лавриков еще не прибывал, – пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился: поймал, зарезал и ощипал старую курицу; Апраксея долго терла и мыла ее, стирая ее, как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю; когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку аплике о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком; потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, – и сам стал за его стулом, обвернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий, древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу; кожа ее была вся покрыта крупными пупырушками; толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если… «Сею минуту-с подам-с», – перебил его старик – и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки; сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки; он еще с детства помнил эту чашку: игорные карты были изображены на ней, из нее пили только гости, – и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга; Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати; он велел постлать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу; он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте; ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают.

Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах; он долго шептался с Апраксеей, охал вполголоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой; они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому; она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей, давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, – и сладко спалось старику.

XX

На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, – и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», – сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к теченью тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит; сквозь дружное, назойливо жалобное жужжанье мух раздается гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрипят ворота. «Чего?» – задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик», – говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. «Квас неси», – повторяет тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто входит в ее круг, – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а

там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, – продолжает думать Лаврецкий, – пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, – и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе как весенний снег, – и странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины.

XXI

В течение двух недель Федор Иваныч привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад; из Лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы; на конюшне появились лошади; словом, Федор Иваныч обзавелся всем нужным и начал жить – не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно; но он не скучал, хотя никого не видел; он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало: ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну; Антон становился у двери, заложив назад руки, начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок; когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь, – жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, – так все вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон много о своей госпоже, Глафире Петровне: какие они были рассудительные и бережливые; как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака, и желтое

платье из трю-трю-левантина; но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос: «Что, мол, должон быть у вас, сударыня, капитал?» – приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины, до самомалейшей тряпицы, было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого пла-тья из трю-трю-левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреич, вписывал – то «Празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александр Александровичем Прозоровским»; то рецепт грудного *декохта* с примечанием: «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальныя троицы Феодора Авксентьевича»; то политическую новость следующего рода: «О тиграх французах что-то замолкло», – и тут же рядом: «В Московских ведомостях показано, что скончался господин премиер-маиор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли Васильевича Колычева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение г. Амбодика; много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы». В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье, с белым розаном в руке, – его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иваныч, – говаривал Лаврецкому Антон, – хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея Афанасьевича, помню, как же: мне, когда они скончались, восьмнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, – так даже поджилки затряслись; однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить – и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная така ладонка; с Афонской горы им монах ту ладонку подарил. И сказал он ему этта монах-то: „За твое, боярин, радушие сие тебе дарю; носи – и суда не бойся“. Ну, да ведь тогда,

батюшка, известно, какие были времена: что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: „Мелко плаваешь“, – самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженныя памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых; а что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был: из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; все у них пошло *хинею* и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, – а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще, спасибо, Глафира Петровна порадела».

– А правда ли, – перебивал его Лаврецкий, – ее старой колотовкой звали?

– Да ведь кто звал! – возражал с неудовольствием Антон.

– А что, батюшка, – решился спросить однажды старик, – что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?

– Я развелся с женою, – проговорил с усилием Лаврецкий, – пожалуйста, не спрашивай о ней.

– Слушаю-с, – печально возразил старик.

По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О… к Калитиным и провел у них вечер. Лемм был у них; он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо; Лемм оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать; по ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лемм много говорил; сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали; самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участья, а Лаврецкий видимо интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло; он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим целую положенную им на музыку балладу Шиллера: «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько

дней. Лемм, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку; но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Ich bin wohl nicht klug» (я не в своем уме), – пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда, несколько дней спустя, Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иваныч вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкий собственно для него велел привезти к себе в деревню фортепьяно из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков; Лаврецкий смеялся, но Лемм не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сиянье безлунного звездного неба, дружный топот и фыркание лошадей – все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.

XXII

Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинения и, полушутя, предложил ему написать для него либретто.

– Гм, либретто! – возразил Лемм, – нет, это не по мне: у меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы; я уже теперь лишился сил моих… Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом; конечно, я желал бы хороших слов…

Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.

– Например, – проговорил он наконец, – что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы, чистые звезды!..

Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.

– Вы, звезды, чистые звезды, – повторил Лемм… – Вы взираете одинаково на правых и на виновных… но одни невинные сердцем, – или что-нибудь в этом роде… вас понимают, то есть нет, – вас любят.

Впрочем, я не поэт, куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.

Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.

– И вы тоже, – продолжал он постепенно утихавшим голосом, – вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить… Нет, это все не то! Я не поэт, – промолвил он, – но что-нибудь в этом роде…

– Мне жаль, что и я не поэт, – заметил Лаврецкий.

– Пустые мечтанья! – возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.

Прошло несколько мгновений… Лаврецкий прислушался… «Звезды, чистые звезды, любовь», – шептал старик.

«Любовь», – повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе.

– Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорыч, – промолвил он громко, – а как вы полагаете, этот Фридолин, после того как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?

– Это вы так думаете, – возразил Лемм, – потому что, вероятно, опыт… – Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу.

Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю, передрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калягиных в саду пел соловей; он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда, при первых его звуках, они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка, – проговорил он вполголоса, – чистые звезды», – прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать.

А Лемм долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его: он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения… но он не дождался ее…

– Не поэт и не музыкант! – прошептал он наконец…

И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.

XXIII

На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой.

– Маэстро! – сказал между прочим Лаврецкий, – вам придется скоро сочинять торжественную кантату.

– По какому случаю?

– А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад.

– Этого не будет! – воскликнул Лемм.

– Почему?

– Потому что это невозможно. Впрочем, – прибавил он погодя немного, – на свете все возможно. Особенно здесь у вас, в России.

– Россию мы оставим пока в стороне; но что же дурного находите вы в этом браке?

– Все дурно, все. Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он… он ди-ле-тант, одним словом.

– Да ведь она его любит?

Лемм встал со скамейки.

– Нет, она его не любит, то есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит: любить. Мадам фон-Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон-Калитин, потому что она еще совсем дитя, хотя ей и девятнадцать лет: молится утром, молится вечером, и это очень похвально; но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна.

Лемм произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.

– Дражайший маэстро! – воскликнул вдруг Лаврецкий, – мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.

Лемм вдруг остановился.

– Пожалуйста, – начал он неверным голосом, – не шутите так надо мною. Я не безумец: я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность.

Лаврецкому стало жаль старика; он попросил у него прощения. Лемм после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.

– Как вы думаете, Христофор Федорыч, – сказал он наконец, – ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету… Не

пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой теткой, а? Вам это будет приятно?

Лемм наклонил голову над тарелкой.

– Пригласите, – проговорил он чуть слышно.

– А Паншина не надобно?

– Не надобно, – возразил старик с почти детской улыбкой.

Дня два спустя Федор Иваныч отправился в город к Калитиным.

XXIV

Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении; он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему: их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились; она успела уже привыкнуть к нему, – да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека и внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений, – и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», – подумала она, ласково глядя на него; «вот ты какая», – подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить.

– Не бойтесь, говорите, – промолвил он и остановился перед ней.

Лиза подняла на него свои ясные глаза.

– Вы такие добрые, – начала она и в то же время подумала: «Да, он, точно, добрый…» – Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами… но как могли вы… отчего вы расстались с вашей женой?

Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней.

– Дитя мое, – заговорил он, – не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране; руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно.

– Я знаю, – продолжала Лиза, как будто не расслушав его, – она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать; но как же можно разлучать то, что бог соединил?

– Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна, – произнес Лаврецкий довольно резко, – мы не поймем друг друга.

Лиза побледнела; все тело ее слегка затрепетало, но она не

замолчала.

– Вы должны простить, – промолвила она тихо, – если хотите, чтобы и вас простили.

– Простить! – подхватил Лаврецкий. – Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите? Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо! И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением… Да что тут толковать! Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо.

– Зачем оскорблять! – с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. – Вы сами ее оставили, Федор Иваныч.

– Но я же вам говорю, – возразил с невольным взрывом нетерпенья Лаврецкий, – вы не знаете, какое это создание!

– Так зачем же вы женились на ней? – прошептала Лиза и потупила глаза.

Лаврецкий быстро поднялся со стула.

– Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам бог заключить более счастливый брак! но поверьте, ни за что нельзя ручаться.

– И я могу так же быть несчастной, – промолвила Лиза (голос ее начал прерываться), – но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не будем покоряться…

Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой.

– Не сердитесь, простите меня, – торопливо произнесла Лиза.

В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться.

– Постойте, – неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. – У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба: посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепьяно; Лемм гостит у меня; сирень теперь цветет; вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день, – согласны вы?

Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид; но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от «тюленя», умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, все еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка; я виноват…» И ее бледное

лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ее тоже улыбнулись, – она до того мгновенья боялась, не оскорбила ли она его.

– Владимир Николаич с нами может ехать? – спросила Марья Дмитриевна.

– Конечно, – возразил Лаврецкий, – но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?

– Да ведь кажется… – начала было Марья Дмитриевна. – Впрочем, как хотите, – прибавила она.

Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.

– Тяжело мне, свет, – сказала она, – кости старые ломать; и ночевать у тебя, чай, негде, да и мне не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет.

Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой; но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку; она задумалась, оставшись одна.

XXV

Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы; выступили на свет божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения; в них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, – а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за триста от города О…, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал, – кто это мог ожидать?» – и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений.

– Я, брат, – промолвил он, – завтра должен ехать; сегодня мы, уж ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убежденья, чем ты стал, чему жизнь тебя научила? (Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов.)

Что касается до меня, я во многом изменился, брат: волны жизни упали на мою грудь, – кто, бишь, это сказал? – хотя в важном, существенном я не изменился; я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю, – я верую теперь, да – я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; в них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пиесу: в ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай. – Михалевич принялся читать свое стихотворение; оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок, душою я стал:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал; легкие судороги – признак сильного чувства – пробежали по его широким губам, некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал… дух противоречия зашевелился в нем: его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди. С оника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных, – и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих: голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лемм, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоуменье и начал даже чего-то смутно бояться.

– Что же ты после этого? разочарованный? – кричал Михалевич в первом часу ночи.

– Разве разочарованные такие бывают? – возражал Лаврецкий, – те все бывают бледные и больные, – а хочешь я тебя одной рукой подниму?

– Ну, если не *разочарованный,* то *скептык,* это еще хуже (выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией). А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим; в этом твоей вины не было: ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин: первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.

– Она и тебя обманула, – заметил угрюмо Лаврецкий.

– Положим, положим; я был тут орудием судьбы, – впрочем, что это я вру, – судьбы тут нету; старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?

– Доказывает то, что меня с детства вывихнули.

– А ты себя вправь! на то ты человек, ты мужчина; энергии тебе не занимать стать! Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно – частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?

– Какое тут правило? – перебил Лаврецкий, – я не признаю…

– Нет, это твое правило, – перебивал его в свою очередь Михалевич.

– Ты эгоист, вот что! – гремел он час спустя, – ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя…

– Что такое самонаслажденье?

– И все тебя обмануло; все рухнуло под твоими ногами.

– Что такое самонаслажденье, спрашиваю я тебя?

– И оно должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке…

– Говори ясней, без сравнений, *ибо* я тебя не понимаю.

– Ибо, – пожалуй, смейся, – ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной; ум, все один только копеечный ум… ты просто жалкий, отсталый вольтериянец – вот ты кто!

– Кто, я вольтериянец?

– Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь.

– После этого, – воскликнул Лаврецкий, – я вправе сказать, что ты фанатик!

– Увы! – возразил с сокрушеньем Михалевич, – я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования…

– Я теперь нашел, как тебя назвать, – кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи, – ты не скептик, не разочарованный, не вольтериянец, ты – байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознаньем, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек – и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать – ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что все, что люди ни делают, – все вздор и ни к чему не ведущая чепуха.

– Да с чего ты взял, что я лежу? – твердил Лаврецкий, – почему ты предполагаешь во мне такие мысли?

– А сверх того, вы все, вся ваша братия, – продолжал неугомонный Михалевич, – начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, – и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница – лежу, а те, дураки, хлопочут. Да! А то есть у нас такие господа – впрочем, я это говорю не на твой счет, – которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как… как грыб в сметане, – подхватил Михалевич и сам засмеялся

своему сравнению. – О, это мление скуки – гибель русских людей! Весь век собирается работать, противный байбак…

– Да что ж ты бранишься? – вопил в свою очередь Лаврецкий. – Работать… делать… Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен полтавский!

– Вишь, чего захотел! Это я тебе не скажу, брат; это всякий сам должен знать, – возражал с иронией Демосфен. – Помещик, дворянин – и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал; веры нет – и нет откровения.

– Дай же по крайней мере отдохнуть, черт; дай оглядеться, – молил Лаврецкий.

– Ни минуты отдыха, ни секунды! – возражал с повелительным движением руки Михалевич. – Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна.

– И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? – кричал он в четыре утра, но уже несколько осипшим голосом, – у нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим…

– Позволь мне тебе заметить, – промолвил Лаврецкий, – что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это, никак, уже третьи кричат.

Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», – проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», – повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали… Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи.

Михалевич уехал на другой день, как ни удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться; но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности: сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух; приехавши, он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе «образованного человека». Со всем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея и сокрушаясь о

судьбах человечества, о собственном призвании, – и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных; особенно пылко воспел он одну таинственную, чернокудрую «панну»… Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам… но, как подумаешь, – разве это не все равно?

С Леммом Михалевич не сошелся: немца, с непривычки, запугали его многошумные речи, его резкие манеры… Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно: ему с ним нечем делиться, – даже надеждами.

Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, – и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины…

– С черной лилией, во всяком случае, – заметил Лаврецкий.

– Э, брат, не аристократничай, – возразил добродушно Михалевич, – а лучше благодари бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии…

– Спасибо, брат, – промолвил Лаврецкий, – с меня будет этих неземных существ.

– Молчи, *цыныk!* – воскликнул Михалевич.

– «Циник», – поправил его Лаврецкий.

– Именно цынык, – повторил, не смущаясь, Михалевич.

Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил; окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец… «Помни мои последние три слова, – закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе, – религия, прогресс, человечность!.. Прощай!» Голова его, с нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце – и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав, – думал он, возвращаясь в дом, – пожалуй, что я байбак». Многие из слов Михалевича

неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может.

XXVI

Два дня спустя Марья Дмитриевна, по обещанию, прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея, по старинной дворовой привычке, подошли к ней к ручке, – и расслабленным голосом, в нос, попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое: твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны – и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило и обрадовало старика; ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день: Лемм волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось: она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лемм достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепьяно. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепьяно и разобрала романс… Увы! музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной; видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло: усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали – и Лемм это понял: ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и, в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь – баста!» – сгорбился, съежился и отошел.

К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега, в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую

удочку; Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Иванычу следующей фразой на институтско-французском языке: «Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois». [104] Лемм с двумя девочками отправился подальше, к самой плотине; Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно; выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками; радостные восклицания девочек не умолкали; сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы; вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимания на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту; Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты; на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой; соломенная шляпа висела у ней на одной руке, – другою она с некоторым усилием поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих.

– А знаете ли, – начал Лаврецкий, – я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры.

– Я совсем не с тем намерением… – возразила было Лиза – и застыдилась.

– Вы добры, – повторил Лаврецкий. – Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемм; он просто влюблен в вас.

Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули; это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное.

– Очень он мне был жалок сегодня, – подхватил Лаврецкий, – с своим неудавшимся романсом. Быть молодым и не уметь – это сносно; но состариться и не быть в силах – это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары!.. Берегитесь, у вас клюет… Говорят, – прибавил Лаврецкий,

помолчав немного, – Владимир Николаич написал очень милый романс.

– Да, – отвечала Лиза, – это безделка, но недурная.

– А как, по-вашему, – спросил Лаврецкий, – хороший он музыкант?

– Мне кажется, у него большие способности к музыке; но он до сих пор не занимался ею как следует.

– Так. А человек он хороший?

Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Иваныча.

– Какой странный вопрос! – воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова.

– Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас как человек, недавно сюда приехавший, как родственник.

– Как родственник?

– Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей?

– У Владимира Николаича доброе сердце, – заговорила Лиза, – он умен: maman его очень любит.

– А вы его любите?

– Он хороший человек; отчего же мне его не любить?

– А! – промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. – Ну и дай бог им счастья! – пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отворотил голову.

Лиза покраснела.

– Вы ошибаетесь, Федор Иваныч, – сказала она, – вы напрасно думаете… А разве вам Владимир Николаич не нравится? – спросила она вдруг.

– Не нравится.

– Отчего же?

– Мне кажется, сердца-то у него и нету.

Улыбка сошла с лица Лизы.

– Вы привыкли строго судить людей, – промолвила она после долгого молчанья.

– Я не думаю. Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?.. А что, – прибавил он, – сдержали вы свое обещание?

– Какое?

– Помолились вы за меня?

– Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста,

не говорите легко об этом.

Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства…

– Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное… там… земное, а для того, что каждый человек должен умереть.

Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.

– Какое это вы промолвили слово! – сказал он.

– Это слово не мое, – отвечала она.

– Не ваше… Но почему вы заговорили о смерти?

– Не знаю. Я часто о ней думаю.

– Часто?

– Да.

– Этого не скажешь, глядя на вас теперь: у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь…

– Да, мне очень весело теперь, – наивно возразила Лиза.

Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их…

– Лиза, Лиза, – закричала Марья Дмитриевна, – поди сюда, посмотри, какого карася я поймала.

– Сейчас, maman, – отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей раките. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», – думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку; с странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот.

– Почему же вам кажется, что у Владимира Николаича сердца нет? – спросила она несколько мгновений спустя.

– Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впрочем, время все покажет.

Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне; он чувствовал потребность поговорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу: она так мило, так внимательно его слушала; ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это.

Лиза удивилась.

– Право? – промолвила она, – а я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, *своих* слов нет. Она однажды сказала своему

жениху: тебе должно быть скучно со мною; ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету.

«И слава богу!» – подумал Лаврецкий.

XXVII

Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма; но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, с замечательной для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза; на передних – девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы – он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади – и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его; все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали, – а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, – все покоилось; молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твердым блеском;

свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольною струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем, – думал он, – не совсем еще нас заела…» Он не договорил: кто или что… Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина; что встреться он с ней при других обстоятельствах, – бог знает, что могло бы из этого выйти; что она понимает Лемма, хотя у ней «своих» слов нет. Да и это неправда: у ней есть свои слова… «Не говорите об этом легкомысленно», – вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес:

И я сжег все, чему поклонялся;
Поклонился всему, что сжигал… –

но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому.

Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из ее благовонной глубины, бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо.

Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь; Лемм глядел исподлобья и все крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их – и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет известный уже нам мусье Жюль сообщал своим читателям «горестную новость»: прелестная, очаровательная москвитянка, – писал он, – одна из цариц моды, украшение парижских салонов, Madame de Lavretzki скончалась почти внезапно, – и весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него, г-на Жюля. Он был, так продолжал он, – можно сказать, другом покойницы…

Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее.

XXVIII

На следующее утро, за чаем, Лемм попросил Лаврецкого дать ему

лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки, – заметил старик, – а то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему: он казался рассеянным. «Хорошо, – сказал он наконец, – я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лемм небольшой свой чемодан, изорвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний нумер газеты. Во все время дороги и Лемм и Лаврецкий мало говорили друг с другом: каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику: тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки (он держал чемодан обеими руками перед грудью), не глядя даже на него, сказал ему по-русски: «Прощайте-с!» – «Прощайте», – повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О… Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтоб свысока, а снисходительно; но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке; этого было довольно: следовало завоевать «прекрасного» человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу; сказал слова два о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать; тут же весело подтрунил над самим собою и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «de populariser l'idée du cadastre». [105] Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и, как фокусник шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражения: «Вот что бы я сделал, если б я был правительством»; «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», – не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствования Паншина: не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек, с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми

глазами. Паншин скоро догадался, с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий, может быть, и прекрасный человек, но несимпатичный, «aigri»[106] и «en somme»[107] несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского; потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы; потом приехала и любительница музыки, Беленицына, маленькая, худенькая дама, с почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами; приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек, с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах; в гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросеночком; Паншин вернулся: очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру; особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза: ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновенье и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором; никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, – ни дать ни взять невысказавшийся художник, – но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс: Лаврецкий его стеснял. Федор Иваныч тоже говорил мало; особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату: она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней.

– Что с вами? – промолвила она, ставя чайник на самовар.

– А разве вы что заметили? – проговорил он.

– Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор.

Лаврецкий наклонился над столом.

– Я хотел, – начал он, – передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом фельетоне, – прибавил он, подавая ей нумер взятого с собою журнала. – Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром.

Лиза изумилась… Паншин показался на пороге двери: она положила журнал к себе в карман.

– Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна? – задумчиво спросил ее Паншин.

Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел.

– Видно, в карты играть, – говорила она, – не то, что выдумки сочинять.

Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол; Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела – и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог; оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей, – было тяжело: он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу.

– Приходите, – отвечала она с тем же недоумением на лице.

Паншин оживился по уходе Лаврецкого; он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему: значительно и немного печально.

А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь; но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени; он просто глядел в свою жизнь: сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: «Да это неправда, это все вздор», – и он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.

XXIX

Марья Дмитриевна не слишком ласково приняла Лаврецкого, когда

он явился к ней на следующий день. «Вишь, повадился», – подумала она. Он ей сам по себе не очень нравился, да и Паншин, под влиянием которого она находилась, весьма коварно и небрежно похвалил его накануне. Так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника, почти домашнего человека, то и получаса не прошло, как он уже шел с Лизой в саду по аллее. Леночка и Шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику.

Лиза была спокойна по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала.

– Это ужасно! – промолвила она. Лаврецкий ничего не отвечал.

– Да может быть, это еще и неправда, – прибавила Лиза.

– Оттого-то я и попросил вас не говорить об этом никому.

Лиза прошлась немного.

– Скажите, – начала она, – вы не огорчены? нисколько?

– Я сам не знаю, что я чувствую, – отвечал Лаврецкий.

– Но ведь вы ее любили прежде?

– Любил.

– Очень?

– Очень.

– И не огорчены ее смертью?

– Она не теперь для меня умерла.

– Это грешно, что вы говорите… Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом: друг все может говорить. Мне, право, даже страшно… Вчера у вас такое нехорошее было лицо… Помните, недавно, как вы жаловались на нее? – а ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам в наказание послано.

Лаврецкий горько усмехнулся.

– Вы думаете?.. По крайней мере я теперь свободен.

Лиза слегка вздрогнула.

– Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении…

– Я давно ее простил, – перебил Лаврецкий и махнул рукой.

– Нет, не то, – возразила Лиза и покраснела. – Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили…

– Кому меня прощать?

– Кому? Богу. Кто же может нас простить, кроме бога.

Лаврецкий схватил ее за руку.

– Ах, Лизавета Михайловна, поверьте, – воскликнул он, – я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте.

– Это вы не можете знать, – проговорила Лиза вполголоса. – Вы забыли, – еще недавно, вот когда вы со мной говорили, – вы не хотели ее прощать.

Оба молча прошлись по аллее.

– А что же ваша дочь? – спросила вдруг Лиза и остановилась.

Лаврецкий встрепенулся.

– О, не беспокойтесь! Я уже послал письма во все места. Будущность моей дочери, как вы ее… как вы говорите… обеспечена. Не беспокойтесь.

Лиза печально улыбнулась.

– Но вы правы, – продолжал Лаврецкий, – что мне делать с моей свободой? На что мне она?

– Когда вы получили этот журнал? – промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос.

– На другой день после вашего посещения.

– И неужели… неужели вы даже не заплакали?

– Нет. Я был поражен; но откуда было взяться слезам? Плакать о прошедшем – да ведь оно у меня все выжжено!.. Самый проступок ее не разрушил мое счастие, а доказал мне только, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает? Я, может быть, был бы более огорчен, если б я получил это известие двумя неделями раньше…

– Двумя неделями? – возразила Лиза. – Да что ж такое случилось в эти две недели?

Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего.

– Да, да, вы угадали, – подхватил внезапно Лаврецкий, – в течение этих двух недель я узнал, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось.

Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке.

– А я доволен тем, что показал вам этот журнал, – говорил Лаврецкий, идя за нею следом, – я уже привык ничего не скрывать от вас и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием.

– Вы думаете? – промолвила Лиза и остановилась. – В таком случае я бы должна была… да нет! Это невозможно.

– Что такое? Говорите, говорите.

– Право, мне кажется, я не должна… А, впрочем, – прибавила Лиза и с улыбкой оборотилась к Лаврецкому, – что за откровенность вполовину? Знаете ли? Я получила сегодня письмо.

– От Паншина?

– Да, от него… Почему вы знаете?

– Он просит вашей руки?

– Да, – произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза.

Лаврецкий, в свою очередь, серьезно посмотрел на Лизу.

– Ну, и что же вы ему отвечали? – проговорил он наконец.

– Я не знаю, что отвечать, – возразила Лиза и опустила сложенные руки.

– Как? Ведь вы его любите?

– Да, он мне нравится; он, кажется, хороший человек.

– Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне четвертого дня. Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью?

– Как *вы* понимаете, – нет.

– Вы в него не влюблены?

– Нет. Да разве это нужно?

– Как?

– Маменьке он нравится, – продолжала Лиза, – он добрый; я ничего против него не имею.

– Однако вы колеблетесь?

– Да… и, может быть, – вы, ваши слова тому причиной. Помните, что вы третьего дня говорили? Но это слабость…

– О дитя мое! – воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал, – не мудрствуйте лукаво, не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать…

– Я слушаюсь, я ничего не беру на себя, – произнесла было Лиза…

– Слушайтесь вашего сердца; оно одно вам скажет правду, – перебил ее Лаврецкий… – Опыт, рассудок – все это прах и суета! Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле.

– Вы ли это говорите, Федор Иваныч? Вы сами женились по любви – и были ли вы счастливы?

Лаврецкий всплеснул руками.

– Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь!.. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья… нет! я был счастлив!

– Мне кажется, Федор Иваныч, – произнесла, понизив голос, Лиза (когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала

голос; притом она чувствовала большое волнение), – счастье на земле зависит не от нас…

– От нас, от нас, поверьте мне (он схватил ее за обе руки; Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него), лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем; но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой! Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отреченья, что ли… Это то же безверие, тот же расчет, – и еще худший. Поверьте мне – я имею право это говорить: я дорого заплатил за это право. И если ваш бог…

В это мгновенье Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумленьем уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил: «Извините меня, пожалуйста», – и направился к дому.

– Об одном только прошу я вас, – промолвил он, возвращаясь к Лизе, – не решайтесь тотчас, подождите, подумайте о том, что я вам сказал. Если б даже вы не поверили мне, если б вы решились на брак по рассудку, – и в таком случае не за господина Паншина вам выходить: он не может быть вашим мужем… Не правда ли, вы обещаетесь мне не спешить?

Лиза хотела ответить Лаврецкому – и ни слова не вымолвила, не оттого, что она решилась «спешить»; но оттого, что сердце у ней слишком сильно билось и чувство, похожее на страх, захватило дыхание.

XXX

Уходя от Калитиных, Лаврецкий встретился с Паншиным; они холодно поклонились друг другу. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и заперся. Он испытывал ощущения, едва ли когда-нибудь им испытанные. Давно ли находился он в состоянии «мирного оцепенения»? давно ли чувствовал себя, как он выражался, на самом дне реки? Что же изменило его положение? что вынесло его наружу, на поверхность? самая обыкновенная, неизбежная, хотя всегда неожиданная случайность: смерть? Да; но он не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза? Он чувствовал, что в течение трех последних дней он стал глядеть на нее другими глазами; он вспомнил, как, возвращаясь домой и думая о ней в тиши ночи, он говорил самому себе: «Если бы!..» Это «если бы», отнесенное им к прошедшему, к невозможному,

сбылось, хоть и не так, как он полагал, – но одной его свободы было мало. «Она послушается матери, – думал он, – она выйдет за Паншина; но если даже она ему откажет, – не все ли равно для меня?» Проходя перед зеркалом, он мельком взглянул на свое лицо и пожал плечами.

День пронесся быстро в этих размышлениях; настал вечер. Лаврецкий отправился к Калитиным. Он шел поспешно, но к дому их приблизился замедленными шагами. Перед крыльцом стояли дрожки Паншина. «Ну, – подумал Лаврецкий, – не буду эгоистом», – и вошел в дом. В доме он никого не встретил, и в гостиной было тихо; он отворил дверь и увидел Марью Дмитриевну, игравшую в пикет с Паншиным. Паншин молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула: «Вот неожиданно!» – и слегка нахмурила брови. Лаврецкий подсел к ней и стал глядеть ей в карты.

– Вы разве умеете в пикет? – спросила она его с какою-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась.

Паншин счел девяносто и начал учтиво и спокойно брать взятки, с строгим и достойным выражением на лице. Так должны играть дипломаты; вероятно, так и он играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости. «Сто один, сто два, черви, сто три», – мерно раздавался его голос, и Лаврецкий не мог понять, чем он звучал: укоризной или самодовольствием.

– Можно видеть Марфу Тимофеевну? – спросил он, замечая, что Паншин еще с большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени.

– Я думаю, можно. Она у себя, наверху, – отвечала Марья Дмитриевна, – осведомьтесь.

Лаврецкий отправился наверх. И Марфу Тимофеевну он застал за картами: она играла в дурачки с Настасьей Карповной. Роска залаяла на него; но обе старушки приветливо его приняли, особенно Марфа Тимофеевна казалась в духе.

– А! Федя! Милости просим, – промолвила она, – садись, мой батюшка. А мы сейчас доиграем. Хочешь варенья? Шурочка, достань ему банку с клубникой. Не хочешь? Ну, так сиди так; а курить – не кури: не могу я табачища вашего терпеть, да и Матрос от него чихает.

Лаврецкий поспешил объявить, что вовсе не желает курить.

– Был ты внизу? – продолжала старушка, – кого там видел? Паншин все там торчит? А Лизу видел? Нет? Она сюда хотела прийти… Да вот и она; легка на помине.

Лиза вошла в комнату и, увидев Лаврецкого, покраснела.

– Я к вам на минутку, Марфа Тимофеевна, – начала было она…

– Зачем на минутку? – возразила старушка. – Что это вы все, молодые девки, за непоседы за такие? Ты видишь, у меня гость: покалякай с ним, займи его.

Лиза присела на край стула, подняла глаза на Лаврецкого – и почувствовала, что ей нельзя было не дать ему знать, чем кончилось ее свидание с Паншиным. Но как это сделать? Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь редко ходит, и так равнодушно переносит кончину жены, – и вот уже она сообщает ему свои тайны… Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему и чувствует к нему влеченье; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату. Марфа Тимофеевна пришла на помощь.

– Ведь если ты его занимать не будешь, – заговорила она, – кто ж его, бедненького, займет? Я для него слишком стара, он для меня слишком умен, а для Настасьи Карповны он слишком стар: ей все молоденьких подавай.

– Чем же я могу занять Федора Иваныча? – промолвила Лиза. – Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепьяно сыграю, – прибавила она нерешительно.

– И прекрасно; ты у меня умница, – возразила Марфа Тимофеевна. – Ступайте, мои милые, вниз; когда кончите, приходите; а я вот в дурах осталась, мне обидно, я отыграться хочу.

Лиза встала. Лаврецкий пошел за ней. Спускаясь с лестницы, Лиза остановилась.

– Правду говорят, – начала она, – что сердце людское исполнено противоречий. Ваш пример должен был испугать меня, сделать меня недоверчивой к бракам по любви, а я…

– Вы отказали ему? – перебил Лаврецкий.

– Нет; но и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и попросила его подождать. Довольны вы? – прибавила она с быстрой улыбкой и, слегка трогая перила рукою, сбежала с лестницы.

– Что мне сыграть вам? – спросила она, поднимая крышку фортепьяно.

– Что хотите, – отвечал Лаврецкий и сел так, что мог смотреть на нее.

Лиза начала играть и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взглянула, наконец, на Лаврецкого и остановилась: так чудно и странно показалось ей его лицо.

– Что с вами? – спросила она.

– Ничего, – возразил он, – мне очень хорошо; я рад за вас, я рад вас видеть, продолжайте.

– Мне кажется, – говорила Лиза несколько мгновений спустя, – если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма; он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь.

– Это не важно, – промолвил Лаврецкий, – важно то, что вы его не любите.

– Перестаньте, что это за разговор! Мне все мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны.

– Не правда ли, Вольдемар, как мило играет моя Лизет? – говорила в то же время Марья Дмитриевна Паншину.

– Да, – отвечал Паншин, – очень мило.

Марья Дмитриевна с нежностью посмотрела на молодого своего партнера; но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил четырнадцать королей.

XXXI

Лаврецкий не был молодым человеком; он не мог долго обманываться на счет чувства, внушенного ему Лизой; он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Не много радости принесло ему это убеждение. «Неужели, – подумал он, – мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета *той:* она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекала бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед, к прекрасной цели. Да, – кончил он свои размышления, – все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен. Зато и Паншина она не любит… Слабое утешение!»

Лаврецкий поехал в Васильевское; но и четырех дней там не выжил, – так ему показалось скучно. Его томило также ожидание: известие, сообщенное г-м Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у Калитиных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена; но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей пятнадцать в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком «qui a un si

grand ridicule».[108] Он нашел в ней перемену: она стала как будто задумчивее, попеняла ему за отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедне? (На другой день было воскресенье.)

– Ступайте, – сказала она прежде, чем он успел ответить, – мы вместе помолимся за упокой *ее* души. – Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина долее ждать ее решения.

– Почему же? – спросил Лаврецкий.

– Потому, – сказала она, – что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение.

Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев.

На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась: тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась и за него, – и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов – все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к богу: он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновенье если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу… «Ты меня сюда привела, – подумал он, – коснись же меня, коснись моей души». Она все так же тихо молилась; лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь, он попросил другой душе – покоя, своей – прощенья…

Они встретились на паперти; она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин; колокола соседних церквей гудели в вышине; воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался; легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент Лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, роздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой.

XXXII

Настали трудные дни для Федора Иваныча. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волненьем распечатывал письма, журналы – и нигде не находил ничего, что бы могло подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок: «Что это я, – думал он, – жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!» К Калитиным он ходил каждый день; но и там ему не становилось легче: хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения; Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо; Лемм напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему, – а главное: Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней, вместо прежней доверчивости, проявлялось замешательство; она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал: в ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала; но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им нумер журнала: он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений: какой ответ дать Паншину? Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтер Скотта, который она сама у него спросила.

– Вы прочли эту книгу? – проговорил он.

– Нет; мне теперь не до книг, – отвечала она и хотела уйти.

– Постойте на минутку; я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь.

– Да.

– Отчего же, помилуйте?

– Не знаю.

Лаврецкий помолчал.

– Скажите, – начал он, – вы еще не решились?

– Что вы хотите сказать? – промолвила она, не поднимая глаз.

– Вы понимаете меня.

Лиза вдруг вспыхнула.

– Не спрашивайте меня ни о чем, – произнесла она с живостью, – я ничего не знаю; я сама себя не знаю…

И она тотчас же удалилась.

На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко всенощной. В углу столовой на четыреугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга, в сером фраке и башмаках, прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил – не именинница ли кто? Ему отвечали шепотом, что нет, а что всенощную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны; что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за тридцать верст к больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник, человек уже немолодой, с большой лысиной, и громко кашлянул в передней; дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение; Лаврецкий молча им поклонился; и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил вполголоса басом:

– Приступать прикажете?

– Приступите, батюшка, – возразила Марья Дмитриевна.

Он начал облачаться; дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька; запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой: ее стали выгонять – она испугалась, завертелась и села; лакей подхватил ее и унес. Всенощная началась. Лаврецкий прижался в уголок; ощущения его были странны, почти грустны; он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами; она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски – то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху: она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной; Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом; Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю; он снял епитрахиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою

лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал семьсот рублей на позолоту церковного «кумпола», и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то все хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное; но на сердце у него было смущение, и он ушел наконец, тайно недоумевая… Он чувствовал: что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог.

В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжелые разглагольствования Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, оборотился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы… Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувство возбуждала; но любовь на всякий возраст имеет свои страданья, – и он испытал их вполне.

XXXIII

Однажды Лаврецкий, по обыкновению своему, сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должно наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию: прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями, несколько стихотворений Лермонтова (тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду) – и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал, по поводу известной «Думы», укорять и упрекать новейшее поколение; причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если б власть у него была в руках. «Россия, – говорил он, – отстала от Европы; нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды – это вздор; да и притом у нас изобретательности нет; сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов, – я согласен с ним; но мы больны оттого, что только наполовину сделались европейцами; чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны („Le cadastre“, – подумал Лаврецкий). У нас, – продолжал он, – лучшие головы – les meilleures têtes – давно в этом убедились; все народы в сущности одинаковы; вводите только хорошие учреждения – и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту; это наше дело, дело людей… (он чуть не сказал: государственных) служащих; но, в случае нужды, не беспокойтесь: учреждения переделают самый этот быт». Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, – думала она, – умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну; Лаврецкий молчал тоже; Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением: казалось, он бранил не целое поколенье, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных, в большом кусте сирени, жил соловей; его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными

верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину; завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России; отдавал себя, свое поколение на жертву, – но заступался за новых людей, за их убеждения и желания; Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся наконец до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул – правда, весьма отдаленно – на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса (он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым – только вольтериянцем) – и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный; привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею – того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна; не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил.

– Все это прекрасно! – воскликнул наконец раздосадованный Паншин, – вот вы вернулись в Россию, – что же вы намерены делать?

– Пахать землю, – отвечал Лаврецкий, – и стараться как можно лучше ее пахать.

– Это очень похвально, бесспорно, – возразил Паншин, – и мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части; но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия…

– Une nature poétique[109] – заговорила Марья Дмитриевна, – конечно, не может пахать… et puis,[110] вы призваны, Владимир Николаич, делать все en grand.[111]

Этого было слишком даже для Паншина: он замялся – и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта – все как-то не клеилось; он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как! в такой вечер?» – слабо возразила она; однако велела принести карты.

Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, – и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке,

лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Все затихло в комнате; слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалась в окна, вместе с росистой прохладой, могучая, до дерзости звонкая, песнь соловья.

XXXIV

Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало; но самонадеянный тон светского чиновника (он никогда еще так не высказывался) ее отталкивал; его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее радовал; она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал: он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались; но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же. В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой; да они и действительно за ней следили, – а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне – и радовался; но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки: оно было тайной для нее самой; пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли.

Пробило десять часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной; Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга – и улыбнулись; так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний «король» кончился наконец, и хозяйка встала, кряхтя и

охая, с обложенного подушками кресла; Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой (он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, – и потому дулся на нее) – и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались; Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой, он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было; Лаврецкий долго бродил по росистой траве; узкая тропинка попалась ему; он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке; он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее: она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении: он узнал сад Калитиных.

Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами.

«Это недаром», – подумал он.

Все было тихо кругом; со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот, на повороте аллеи, весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом; в двух только окнах наверху мерцал свет: у Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада; внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробило полночь; в доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать; сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал; ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды… Свет исчез в Лизиной комнате.

«Спокойной ночи, моя милая девушка», – прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна.

Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье… Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!..» Лаврецкий приподнялся… Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу,

нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала; потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери и, вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого.

– Лиза! – сорвалось едва внятно с его губ.

Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту.

– Лиза! – повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи.

Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад: она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад.

– Вы? – проговорила она. – Вы здесь?

– Я… я… выслушайте меня, – прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке.

Она шла за ним без сопротивления; ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней.

– Я не думал прийти сюда, – начал он, – меня привело… Я… я… я люблю вас, – произнес он с невольным ужасом.

Лиза медленно взглянула на него; казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками.

– Лиза, – произнес Лаврецкий, – Лиза, – повторил он и склонился к ее ногам…

Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу.

– Что с вами? – промолвил Лаврецкий и услышал тихо рыдание. Сердце его захолонуло… Он понял, что значили эти слезы. – Неужели вы меня любите? – прошептал он и коснулся ее коленей.

– Встаньте, – послышался ее голос, – встаньте, Федор Иваныч. Что мы это делаем с вами?

Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами.

– Мне страшно; что это мы делаем? – повторила она.

– Я вас люблю, – проговорил он снова, – я готов отдать вам всю жизнь мою.

Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу.

– Это все в божьей власти, – промолвила она.

– Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?

Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к

нему на плечо… Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ.

* * *

Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертою и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу; все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак, – думал он, – она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великолепней; певучим, сильным потоком струились они, – и в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся: звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома.

– Лемм! – вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. – Лемм! Лемм! – повторил он громко.

Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с раскрытой грудью и растрепанными волосами, показалась в окне.

– Ага! – проговорил он с достоинством, – это вы?

– Христофор Федорыч, что это за чудная музыка! ради бога, впустите меня.

Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушить»; сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. «Повторите», – прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», – снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей; свет поднявшейся луны косо падал в окна; звонко

трепетал чуткий воздух; маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко, и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лемм не отвечал на его объятие, даже отклонил его локтем; долго, не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «ага!» Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он, в ответ на горячие поздравления Лаврецкого, сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя.

– Это удивительно, – сказал он, – что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю.

– Вы все знаете? – произнес с смущением Лаврецкий.

– Вы меня слышали, – возразил Лемм, – разве вы не поняли, что я все знаю?

Лаврецкий до утра не мог заснуть; он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала: она молилась.

XXXV

Читатель знает, как вырос и развивался Лаврецкий; скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул десятый год, когда отец ее умер; но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он не скупясь давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей; но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами, – да и некогда ему было нянчиться с ними: он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал; он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», – промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, не много больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих: она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке и называла в глаза умницей и душкой – и только: ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа; а после его смерти поступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну читатель знает; а девица Моро была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старость у ней остались только две страсти – к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала, – лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное: сидит, бывало, смотрит, дышит – и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. Ее даже нельзя было назвать доброю: не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства, – в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами: «Tout ça c'est des bêtises».[112] Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала – чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния; тем сильнее было влияние на нее ее няни, Агафьи Власьевны.

Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства; шестнадцати лет ее выдали за мужика; но от

своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет двадцать был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин, Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молотьбе, поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела; Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела; руки у ней под кисейными рукавами стали «крупичатые», как у купчихи; самовар не сходил со стола; кроме шелку да бархату, она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет пять продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер; вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить с своей соперницей нечестно, тем более что Агафья никогда перед ней не забывалась; однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло года три. Раз как-то, в жаркий летний день, барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная, что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом; а месяцев через шесть так к ней привязалась, что произвела ее в экономки и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела; барыня совсем ей вверилась. Так прошло еще лет пять. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл шесть господских серебряных ложек и запрятал их – до случая – в женин сундук. Это открылось. Его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу; из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда за тридцать лет, дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться: она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутрени, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто – она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила, и опалу сложила с нее, и с своей головы чепец подарила; но она сама не захотела снять свой платок и все ходила в темном платье; а после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек

боится и привязывается легко; но уважение его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали; никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили.

Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство; но она отказалась «ради соблазна»; он прикрикнул на нее: она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей; он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он, с ее согласия, приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел пятый год.

Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни; но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок; черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина; только глаза у ней были не отцовские; они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром; помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на четвертом году говорила совершенно чисто. Отца она боялась; чувство ее к матери было неопределенно, – она не боялась ее и не ласкалась к ней; впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывало, Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног ее, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие пречистой девы, житие отшельников, угодников божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтофиоли?» – спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы… Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала – и образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу,

наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным; Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене; Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша; холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, – вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание; с быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими – Марьей ли Дмитриевной, самим ли Калитиным. Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой; девица Моро ее сменила; но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицанием: «Tout ça c'eat des bêtises» – не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась с своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему.

Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей «паневницы» не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслажденьем, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны: не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво; особенно блестящими способностями, большим умом ее бог не наградил; без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепьяно; но один Лемм знал, чего ей это стоило. Читала она немного; у ней не было «своих слов», но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца: он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она – покойно, неторопливо, так достигла девятнадцатилетнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движенье высказывалась невольная, несколько неловкая грация; голос ее звучал серебром нетронутой юности, малейшее ощущение удовольствия вызывало

привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь.

Такова была Лиза.

XXXVI

На следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли – в первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. Марья Дмитриевна «почивала», – так доложил лакей; у «них» голова болела. Марфы Тимофеевны и Лизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в третий раз – и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого; но в сельце его тетки на него напала грусть; он вступил в разговор с Антоном; у старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, – и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съедение предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его, образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности; он умилился при мысли, что она его любит, – и подъехал к своему городскому домику успокоенный и счастливый.

Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный; тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной… Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную, душистую голову – и упала к его ногам… Тут только он узнал ее: эта дама была его жена.

Дыхание у него захватило… Он прислонился к стене.

– Теодор, не прогоняйте меня! – сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу.

Он глядел на нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела и отекла.

– Теодор! – продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями, – Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, – скажу более, я преступница; но вы выслушайте меня; раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение; сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева; я решилась разорвать всякую связь с прошедшим… puis, j'ai été si malade, я была так больна, – прибавила она и провела рукой по лбу и по щеке, – я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула все; не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда; я долго колебалась предстать пред вас, моего судью – paraî tre devant vous, mon juge; но я решилась наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам; я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте, – продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла, – я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужества, чтобы лишить себя жизни – ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! – но мысль о моей дочери, о моей Адочке меня останавливала; она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок! Она устала – вы ее увидите: она по крайней мере перед вами не виновата, а я так несчастна, так несчастна! – воскликнула г-жа Лаврецкая и залилась слезами.

Лаврецкий пришел, наконец, в себя; он отделился от стены и повернулся к двери.

– Вы уходите? – с отчаянием проговорила его жена, – о, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека… Это презрение меня убивает, это ужасно!

Лаврецкий остановился.

– Что вы хотите слышать от меня? – произнес он беззвучным голосом.

– Ничего, ничего, – с живостью подхватила она, – я знаю, я не вправе ничего требовать; я не безумная, поверьте; я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение; я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить? Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни было.

– Мне нечего вам приказывать, – возразил тем же голосом

Лаврецкий, – вы знаете – между нами все кончено… и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить, где вам угодно; и если вам мало вашей пенсии…

– Ах, не говорите таких ужасных слов, – перебила его Варвара Павловна, – пощадите меня, хотя… хотя ради этого ангела… – И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на больше черные заспанные глаза; она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.

– Ada, vois, c'est ton pépe,[113] – проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее, – prie le avec moi.[114]

– C'est ça, papa,[115] – залепетала девочка, картавя.

– Oui, mon enfant, n'est ce pas, que tu l'aimes?[116]

Но тут стало невмочь Лаврецкому.

– В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? – пробормотал он и вышел вон.

Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.

– Eh bien, madame?[117] – спросила ее служанка француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.

– Eh bien, Justine,[118] – возразила она, – он очень постарел, но, мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху; да не забудьте бараньих котлет для Ады… Правда, их здесь трудно найти; но надо постараться.

– A la guerre comme à la guerre,[119] – возразила Жюстина и загасила свечку.

XXXVII

Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь», – шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила; слишком внезапно

поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Ну, я бы не поверил, – подумал он, – какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит; она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены… и он проклинал себя, проклинал все на свете.

Измученный, пришел он перед утром к Лемму. Долго он не мог достучаться; наконец в окне показалась голова старика в колпаке: кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая, двадцать четыре часа тому назад, со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого.

– Что вам надо? – спросил Лемм, – я не могу каждую ночь играть, я декокт принял.

Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно: старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его.

Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул; старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого, дряхлого халата, ежась и жуя губами.

– Моя жена приехала, – проговорил Лаврецкий, поднял голову, и вдруг сам невольно рассмеялся.

Лицо Лемма выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат.

– Ведь вы не знаете, – продолжал Лаврецкий, – я воображал… я прочел в газете, что ее уже нет на свете.

– О-о, это вы недавно прочли? – спросил Лемм.

– Недавно.

– О-о, – повторил старик и высоко поднял брови. – И она приехала?

– Приехала. Она теперь у меня, а я… я несчастный человек.

И он опять усмехнулся.

– Вы несчастный человек, – медленно повторил Лемм.

– Христофор Федорыч, – начал Лаврецкий, – возьметесь вы доставить записку?

– Гм. Можно узнать, кому?

– Лизав…

– А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку?

– Завтра, как можно раньше.

– Гм. Можно послать Катрин, мою кухарку. Нет, я сам пойду.

– И принесете мне ответ?

– И принесу ответ.

Лемм вздохнул.

– Да, мой бедный молодой друг; вы, точно, – несчастный молодой человек.

Лаврецкий написал два слова Лизе: он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание, – и бросился на узенький диван лицом к стене; а старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт.

Настало утро; оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило восемь часов. Лемм надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в десять часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому; он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лемм вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова: «Мы сегодня не можем видеться; может быть – завтра вечером. Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лемма и пошел к себе домой.

Он застал жену за завтраком, Ада, вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собою дверь и начал ходить взад и вперед; она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами.

Лаврецкий долго не мог заговорить: он чувствовал, что не владел собою; он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет.

– Послушайте, сударыня, – начал он наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, – нам нечего притворяться друг перед другом; я вашему раскаянию не верю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами – мне невозможно.

Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение, – подумала она, – кончено! Я для него даже не женщина».

– Невозможно, – повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. – Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда: вероятно, у вас денег

больше не стало.

– Увы! вы оскорбляете меня, – прошептала Варвара Павловна.

– Как бы то ни было – вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать… и вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики, живите там; там, вы знаете, хороший дом; вы будете получать все нужное сверх пенсии… Согласны вы?

Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу.

– Я вам уже сказала, – промолвила она, нервически подергивая губами, – что я на все буду согласна, что бы вам ни угодно было сделать со мной; на этот раз остается мне спросить у вас: позволите ли вы мне по крайней мере поблагодарить вас за ваше великодушие?

– Без благодарности, прошу вас, эдак лучше, – поспешно проговорил Лаврецкий. – Стало быть, – продолжал он, приближаясь к двери, – я могу рассчитывать…

– Завтра же я буду в Лавриках, – промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. – Но, Федор Иваныч (Теодором она его больше не называла)…

– Что вам угодно?

– Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения; могу ли я надеяться по крайней мере, что со временем…

– Эх, Варвара Павловна, – перебил ее Лаврецкий, – вы умная женщина, да ведь и я не дурак; я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил; но между нами всегда была бездна.

– Я сумею покориться, – возразила Варвара Павловна и склонила голову. – Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, – кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе, забытый Лаврецким нумер журнала.

Федор Иваныч дрогнул: фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти семнадцатилетний стан, ее тонкая, нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец – вся ее фигура, от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, была так изящна.

Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Brava!»,[120] чуть не ударил ее кулаком по темени – и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а два часа спустя Варвара

Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным: из расспросов, сделанных ею прислуге, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.

XXXVIII

День приезда жены Лаврецкого в городе О…, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», – подумала она – и не обманулась; повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу; вежливо, но измененным голосом спросил ее: последнее ли это ее слово и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях? потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица.

– Я не хотел пойти по избитой дороге, – проговорил он глухо, – я хотел найти себе подругу по влечению сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта! – Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом.

Она надеялась, что он тотчас же уедет; но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе: «Votre mére vous appelle; adieu à jamais…»[121] – сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастие.

– За что ты меня убила? За что ты меня убила? – так начала свои жалобы огорченная вдова. – Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер! не интересан! Он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться. А я-то, я-то надеялась! И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута, не сама собой пришла. Уж не тот ли фофан? Вот нашла советчика!

– А он-то, мой голубчик, – продолжала Марья Дмитриевна, – как он почтителен, в самой печали как внимателен! Обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне Палашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь? – И, назвав ее раза два неблагодарною, Марья

Дмитриевна услала Лизу.

Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собой дверь. Лицо старушки было бледно, чепец набоку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась: она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии.

– Прекрасно, сударыня, – начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом, – прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя… Дай мне воды; я говорить не могу.

– Успокойтесь, тетушка, что с вами? – говорила Лиза, подавая ей стакан воды. – Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина.

Марфа Тимофеевна отставила стакан.

– Пить не могу: зубы себе последние выбью. Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидания по ночам назначать, а, мать моя?

Лиза побледнела.

– Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться, – продолжала Марфа Тимофеевна. – Шурочка сама все видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет.

– Я и не отговариваюсь, тетушка, – чуть слышно промолвила Лиза.

– А-а! Так вот как, мать моя; ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому?

– Нет.

– Как же так?

– Я сошла вниз в гостиную за книжкой: он был в саду – и позвал меня.

– И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?

– Люблю, – отвечала тихим голосом Лиза.

– Матушки мои! она его любит! – Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. – Женатого человека любит! а? любит!

– Он мне сказывал… – начала Лиза.

– Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что-о?

– Он мне сказывал, что жена его скончалась.

Марфа Тимофеевна перекрестилась.

– Царство ей небесное, – прошептала она, – пустая была бабенка – не тем будь помянута. Вот как: вдовый он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня? Только

вот что скажу тебе, племянница: в наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя; за правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый! Дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала, за это ты у меня молодец; только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами; не сокрушай ты меня, старуху! А то ведь я не все ласкаться – я и кусаться умею… Вдовый!

Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе; не заслужила она такого униженья. Не веселостью сказывалась ей любовь: во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны! Стыдно, и горько, и больно было ей; но ни сомненья, ни страха в ней не было, – и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но после того свидания, после того поцелуя – она уже колебаться не могла; она знала, что любит, – и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко, на всю жизнь – и не боялась угроз; она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи.

XXXIX

Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой; она даже не знала, принять ли ее: она боялась оскорбить Федора Иваныча. Наконец любопытство превозмогло. «Что ж, – подумала она, – ведь она тоже родная, – и, усевшись в креслах, сказала лакею: – Проси!» Прошло несколько мгновений; дверь отворилась; Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени.

– Благодарствуйте, тетушка, – начала она тронутым и тихим голосом по-русски, – благодарствуйте; я не надеялась на такое снисхожденье с вашей стороны; вы добры, как ангел.

Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих; она не знала, как ей быть: и руку-то свою она у ней отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое; она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем.

– Здравствуйте, bonjour, – сказала Марья Дмитриевна, – конечно, я не воображала… впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, – не мне быть судьею между женой и мужем…

– Мой муж во всем прав, – перебила ее Варвара Павловна, – я одна виновата.

– Это очень похвальные чувства, – возразила Марья Дмитриевна, – очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста.

– Я вчера приехала, – отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул, – я видела Федора Иваныча, я говорила с ним.

– А! Ну, и что же он?

– Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев, – продолжала Варвара Павловна, – но он не лишил меня своего присутствия.

– То есть, он не… Да, да, понимаю, – промолвила Марья Дмитриевна. – Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое.

– Федор Иваныч не простил меня; он не хотел меня выслушать… Но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства.

– А! прекрасное именье!

– Я завтра же отправлюсь туда, в исполнение его воли; но я почла долгом побывать прежде у вас.

– Очень, очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. C'est étonnant.[122]

Варвара Павловна вздохнула.

– Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю; но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества.

– Так, так; это лучше всего. Федор Иваныч вас, однако, вовсе не ожидал… Да, поверьте моей опытности: la patrie avant tout.[123] Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья?

– Вам она нравится? – Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. – Она очень простенькая, от madame Boudran.

– Это сейчас видно. От madame Boudran… Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела.

– Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа – удивительная швея.

– Вы очень добры, моя милая. Но, право, мне совестно.

– Совестно… – повторила с упреком Варвара Павловна. – Хотите вы меня осчастливить – распоряжайтесь мною, как вашей собственностью!

Марья Дмитриевна растаяла.

– Vous êtes charmante,[124] – проговорила она. – Да что же не снимаете вашу шляпку, перчатки?

– Как? вы позволяете? – спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умиленьем, сложила руки.

– Разумеется; ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я… я вас познакомлю с моей дочерью. – Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну! куда ни шло!» – подумала она. – Она сегодня что-то нездорова у меня.

– О, ma tante,[125] как вы добры! – воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам.

Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его

своей гостье. Он сперва было сконфузился; но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене; раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости; выпросила позволение привести Аду; снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом à la guimauve[126] руками, как и где носятся воланы, рюши, кружева, шу; обещалась принести стклянку с новыми английскими духами: Victoria's Essence,[127] и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок; всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола: «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», – промолвила она.

В это мгновенье вошла Лиза.

С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась ко встрече с его женою; она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания; в два каких-нибудь часа ее лицо похудело; но она и слезинки не проронила. «Поделом!» – говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Ну, надо идти!» – подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла… Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее; с мыслью: «Я перед нею виновата», – переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидела ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя, – заговорила она вкрадчивым голосом, – ваша maman так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете… добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо – возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», – подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные

пальцы Лизы, и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса: «Mais ele est délicieuse!»[128] Лиза слабо вспыхнула: насмешка, обида послышались ей в этом восклицании; но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое: подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство… Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы: она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, – думала она, – любил *он*». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком: она боялась потерять власть над собою, она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке.

– Я слышала, моя милая, – начала она, – вы удивительная виртуозка.

– Я давно не играла, – возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепьяно, и бойко пробежала пальцами по клавишам. – Прикажете?

– Сделайте одолжение.

Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства.

– Сильфида! – воскликнул Гедеоновский.

– Необыкновенно! – подтвердила Марья Дмитриевна. – Ну, Варвара Павловна, признаюсь, – промолвила она, в первый раз называя ее по имени, – удивили вы меня: вам хоть бы концерты давать. Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый; он Лизе уроки дает; тот просто от вас с ума сойдет.

– Лизавета Михайловна тоже музыкантша? – спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову.

– Да, она играет недурно и любит музыку; но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек; вот с кем вы должны познакомиться. Это – артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить.

– Молодой человек? – проговорила Варвара Павловна. – Кто он такой? Бедный какой-нибудь?

– Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас – et a Pétersbourg. Камер-юнкер, в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем: Паншин, Владимир Николаич. Он здесь по казенному поручению… будущий министр, помилуйте!

– И артист?

– Артист в душе, и такой любезный. Вы его увидите. Он все время очень часто у меня бывал; я пригласила его на сегодняшний вечер; *надеюсь,* что он придет, – прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой.

Лиза поняла значение этой улыбки; но ей было не до того.

– И молодой? – повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон.

– Двадцати восьми лет – и самой счастливой наружности. Un jeune homme accompli,[129] помилуйте.

– Образцовый, можно сказать, юноша, – заметил Гедеоновский.

Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул; в самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила ариею из «Лучии»: Fra poco[130]… Она сообразила, что веселая музыка нейдет к ее положению. Ария из «Лучии», с ударениями на чувствительных нотках, очень растрогала Марью Дмитриевну.

– Какая душа, – проговорила она вполголоса Гедеоновскому.

– Сильфида! – повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу.

Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею; зато Марья Дмитриевна стала еще ласковей с своей гостьей; невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна не на одну Варвару Павловну не глядела: она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела, как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами – и не ела ничего. Лиза казалась спокойной; и точно: у ней на душе тише стало; странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало: она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал, – перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, – но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса; Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя: «Какой же, однако, дурак должен быть Федор

Иваныч: не умел такую женщину понять!»

Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова.

– Да, у ней ужасно голова болит, – промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. – У меня самой такие бывают мигрени…

– Скажите! – возразила Варвара Павловна.

Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени – и начала, все так же молча, целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела – и заплакала, но не подняла Марфы Тимофеевны, не отняла своих рук: она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие, испросить у ней прощение за вчерашнее; и Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук – и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы; а кот Матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком, продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой, в соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.

XL

А между тем внизу, в гостиной, шел преферанс; Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина.

Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле; Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин, в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться; но вы видите, я приехал» – вот что выражало его не улыбавшееся, только что выбритое лицо.

– Помилуйте, Вольдемар, – воскликнула Марья Дмитриевна, – прежде вы без докладу входили!

Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне; он отступил на шаг, поклонился ей так же вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаленье; потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротив: она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант; Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что «он был в этом заранее уверен», – завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши вполголоса: «Да ведь вы тоже артист, un conferére»,[131] – прибавила еще тише: «Venez!»[132] – и качнула головой в сторону фортепьяно. Это одно брошенное слово: «Venez!» – мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла; он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой я артист, увы! вот вы, я слышал, артистка истинная», – направился вслед за Варварой Павловной к фортепьяно.

– Заставьте его спеть романс – как луна плывет, – воскликнула Марья Дмитриевна.

– Вы поете? – промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и

быстрым взором. – Садитесь.

Паншин стал отговариваться.

– Садитесь, – повторила она, настойчиво постучав по спинке стула.

Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс.

– Charmant,[133] – проговорила Варвара Павловна, – вы прекрасно поете, vous avez du style,[134] – повторите.

Она обошла вокруг фортепьяно и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепьяно и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил.

– Charmant, charmante idèe,[135] – сказала она с спокойной уверенностью знатока. – Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для mezzo-soprano?

– Я почти ничего не пишу, – возразил Паншин, – я ведь это только так, между делом… А разве вы поете?

– Пою.

– О! спойте нам что-нибудь, – проговорила Марья Дмитриевна.

Варвара Павловна отвела рукою волосы от заалевшихся щек и встряхнула головой.

– Наши голоса должны идти друг к другу, – промолвила она, обращаясь к Паншину, – споемте дуэт. Знаете ли вы Son geloso, или La ci darem, или Mira la bianca luna?

– Я пел когда-то Mira la bianca luna, – отвечал Паншин, – да давно, забыл.

– Ничего, мы прорепетируем вполголоса. Пустите меня.

Варвара Павловна села за фортепьяно. Паншин стал возле нее. Они спели вполголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла, потом спели громко, потом два раза повторили: Mira la bianca lu… u… una. Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские вещицы и кокетливо «сказала» французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие; она хотела несколько раз послать за Лизой; Гедеоновский также не находил слов и только головой качал, – но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны; она вдруг повернулась спиной к фортепьяно, промолвила:

«Assez de musique comme ça;[136] будем болтать», – и скрестила руки. «Oui, assez de musique», – весело повторил Паншин и завязал с ней разговор – бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно, как в лучшем парижском салоне», – думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие; глаза его сияли, он улыбался; сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной; но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожественной болтовни. Варвара Павловна показывала себя большой философкой: на все у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем; заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу: оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки: Жорж Санд приводила ее в негодование, Бальзака она уважала, хоть он ее утомлял, в Сю и Скрибе видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Феваля; в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение; о любви в ее речах и помину не было: напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованьем, смирением. Паншин возражал ей; она с ним не соглашалась… но, странное дело! – в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили… что именно говорили эти прелестные глаза – трудно было сказать; но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило; он сознавал, что Варвара Павловна, в качестве настоящей, заграничной львицы, стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника; эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала уменьем легко сходиться со всяким; двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век, а Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, – исчезала как бы в тумане. Подали чай; разговор стал еще непринужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы

она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы – мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волненье, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в двух словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, вполголоса промолвила: «Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame».[137] Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны; но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, – он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил (несчастный!): «Je crois bien»[138] – и даже не: «Je crois bien», а – «J'crois ben!»

Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла; Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала: она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение.

– Как ваше здоровье? – спросил он Лизу.

– Мне лучше теперь, благодарствуйте, – отвечала она.

– А мы здесь немного занялись музыкой; жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно, en artiste consommèe.[139]

– Пойдите-ка сюда, ma chére,[140] – раздался голос Марьи Дмитриевны.

Варвара Павловна тотчас, с покорностью ребенка, подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновенье, свою дочь наедине с Паншиным: она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать.

– Знаете ли, – шепнула она Варваре Павловне, – я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем; не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает.

Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки.

– Вы были бы моей спасительницей, ma tante, – проговорила она печальным голосом, – я не знаю, как благодарить вас за все ваши

ласки; но я слишком виновата перед Федором Иванычем; он простить меня не может.

– Да разве вы… в самом деле… – начала было с любопытством Марья Дмитриевна…

– Не спрашивайте меня, – перебила ее Варвара Павловна и потупилась. – Я была молода, легкомысленна… Впрочем, я не хочу оправдываться.

– Ну, все-таки, отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь, – возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо – и оробела. «Скромна, скромна, – подумала она, – а уж точно львица».

– Вы больны? – говорил между тем Паншин Лизе.

– Да, я нездорова.

– Я понимаю вас, – промолвил он после довольно продолжительного молчания. – Да, я понимаю вас.

– Как?

– Я понимаю вас, – повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать.

Лиза смутилась, а потом подумала: «Пусть!» Паншин принял таинственный вид и умолк, с строгостью посматривая в сторону.

– Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило, – заметила Марья Дмитриевна.

Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду; Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Au revoir!»[141] Гедеоновский сел с ней рядом; она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто не нарочно кончик своей ножки на его ногу; он конфузился, говорил ей комплименты; она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у ней в голове, волновал ее; где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое круженье под звуки музыки – и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты – только львицы умеют так выскакивать, – обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос.

«Любезная особа, – думал статский советник, пробираясь к себе на

квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой оподельдока, – хорошо, что я степенный человек… только чему ж она смеялась?»

Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.

XLI

Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти все время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте: тоска его грызла; он испытывал все терзанья непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувство, охватившее его душу на другой день после приезда в деревню; вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья – опять-таки жажда счастья! «Видно, Михалевич прав, – думал он. – Ты захотел вторично изведать счастья в жизни, – говорил он сам себе, – ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты; да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою… Что ж? захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою: как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля? ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию затем, чтобы пахать землю; ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой…» Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений; он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо-лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе; вдохнувши несколько раз за дверью да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним; но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной: ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты! мелко плаваешь!» – казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, – думал он, – я не слажу с собою, поддамся этому… вздору?» (Тяжелораненые на войне всегда называют «вздором» свои раны. Не обманывать себя человеку – не

жить ему на земле.) «Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну, да: увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастия на всю жизнь – оно вдруг исчезло; да ведь и в лотерее – повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать, так не бывать – и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать; благо, мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал, зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть – вздор!»

– Антон! – закричал он громко, – прикажи сейчас закладывать тарантас. «Да, – подумал он опять, – надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы…»

Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно; и сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства, Апраксея покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали; он сидел неподвижно и прямо и неподвижно глядел вперед на дорогу.

XLII

Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером; но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери; от людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие и поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», – подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности; он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот «хлам». «Oui, monsieur»,[142] – сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще «пикантное» насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний (Варвара Павловна все не возвращалась) решился отправиться к Калитиным, – не к Марье Дмитриевне (он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена), но к Марфе Тимофеевне; он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему:

он на дворе встретил Шурочку; она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее, против ее обыкновения, одну; она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, с скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец.

– А, вот ты, вот, – заговорила она, избегая его взора и суетясь, – ну, здравствуй. Ну, что ж? Что же делать? Где ты был вчера? Ну, она приехала, ну да. Ну надо уж так… как-нибудь.

Лаврецкий опустился на стул.

– Ну, садись, садись, – продолжала старушка. – Ты прямо наверх прошел? Ну, да, разумеется. Что ж? ты на меня пришел посмотреть? Спасибо.

Старушка помолчала; Лаврецкий не знал, что сказать ей; но она его понимала…

– Лиза… да, Лиза сейчас здесь была, – продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля. – Она не совсем здорова. Шурочка, где ты? Поди сюда, мать моя, что это посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть, от *эфтаго* от пенья да от музыки.

– От какого пенья, тетушка?

– Да как же; тут уж эти они, как бишь они по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски: *чи-чи* да *ча-ча,* настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось: уж точно, по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать: собака – и та пристанища ищет; не пропадать же, благо люди не гонят.

– Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал, – возразил Лаврецкий, – тут смелость нужна была большая.

– Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да господь с ней! Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?

– Да, я предоставляю это именье Варваре Павловне.

– Денег спрашивала?

– Пока еще нет.

– Ну, это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?

– Здоров.

– Шурочка, – воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна, – поди-ка скажи Лизавете Михайловне – то есть нет, спроси у ней… ведь она внизу?

– Внизу-с.

– Ну, да; так спроси у ней: куда, мол, она мою книжку дела? она уж знает.

– Слушаю-с.

Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле.

Вдруг послышались легкие шаги по лестнице – и вошла Лиза.

Лаврецкий встал и поклонился; Лиза остановилась у двери.

– Лиза, Лизочка, – хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна, – куда ты мою книжку, книжку куда положила?

– Какую книжку, тетенька?

– Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, не звала… Ну, все равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иваныч приехал. Что твоя голова?

– Ничего.

– Ты все говоришь: ничего. Что у вас там внизу, опять музыка?

– Нет – в карты играют.

– Да, ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай.

– Да нет, Марфа Тимофеевна…

– Не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна: ты с ней побудь. Уважь старуху. – Шурочка вышла. – Да где ж это мой чепец? Куда это он делся, право?

– Позвольте, я поищу, – промолвила Лиза.

– Сиди, сиди; у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там в спальне.

И, бросив исподлобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее.

Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо; Лаврецкий остался, где был.

– Вот как мы должны были увидеться, – проговорил он наконец.

Лиза приняла руки от лица.

– Да, – сказала она глухо, – мы скоро были наказаны.

– Наказаны, – проговорил Лаврецкий. – За что же вы-то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали: они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно; слегка раскрытые губы тоже побледнели.

Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.

– Вы мне написали: все кончено, – прошептал он, – да, все кончено – прежде чем началось.

– Это все надо забыть, – проговорила Лиза, – я рада, что вы пришли; я хотела вам написать, но этак лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей женой.

– Лиза!

– Я вас прошу об этом; этим одним можно загладить… все, что было. Вы подумаете – и не откажете мне.

– Лиза, ради бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете; но *теперь* примириться с нею!.. я согласен на все, я все забыл; но не могу же я заставить свое сердце… Помилуйте, это жестоко!

– Я и не требую от вас… того, что вы говорите; не живите с ней, если вы не можете; но примиритесь, – возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. – Вспомните вашу дочку; сделайте это для меня.

– Хорошо, – проговорил сквозь зубы Лаврецкий, – это я сделаю, положим; этим я исполню свой долг. Ну, а вы – в чем же ваш долг состоит?

– Про это я знаю.

Лаврецкий вдруг встрепенулся.

– Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? – спросил он.

Лиза чуть заметно улыбнулась.

– О нет! – промолвила она.

– Ах, Лиза, Лиза! – воскликнул Лаврецкий, – как бы мы могли быть счастливы!

Лиза опять взглянула на него.

– Теперь вы сами видите, Федор Иваныч, что счастие зависит не от нас, а от бога.

– Да, потому что вы…

Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке.

– Насилу нашла, – сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. – Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда! А впрочем, и молодость не лучше. Что, ты сам с женой в Лаврики поедешь? – прибавила она, оборотясь к Федору Иванычу.

– С нею в Лаврики? я? Не знаю, – промолвил он, погодя немного.

– Ты вниз не сойдешь?

– Сегодня – нет.

– Ну хорошо, как знаешь; а тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки светы, я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас…

И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца.

Лаврецкий быстро подошел к Лизе.

– Лиза, – начал он умоляющим голосом, – мы расстаемся навсегда, сердце мое разрывается, – дайте мне вашу руку на прощание.

Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем…

– Нет, – промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, – нет, Лаврецкий (она в первый раз так его называла), не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю… да, я люблю вас, – прибавила она с усилием, – но нет… нет.

И она поднесла платок к своим губам.

– Дайте мне по крайней мере этот платок.

Дверь скрипнула… Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной.

– Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет, – промолвила старушка.

Лиза тотчас встала и ушла.

Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею.

– Федя, – сказала она вдруг.

– Что, тетушка?

– Ты честный человек?

– Как?

– Я спрашиваю тебя: честный ли ты человек?

– Надеюсь, да.

– Гм. А дай мне честное слово, что ты честный человек.

– Извольте. Но к чему это?

– Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил; а слово сказанное помни, Федя, да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю; да ведь и всем не легко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам: вот, думала я, кому хорошо на свете пожить; да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет, – нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя; а слово свое все-таки помни. Ступай.

Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам… его нагнал лакей.

– Марья Дмитриевна приказали просить вас к ней пожаловать, – доложил он Лаврецкому.

– Скажи, братец, что я не могу теперь… – начал было Федор Иваныч.

– Приказали очинно просить, – продолжал лакей, – приказали сказать, что они одни.

– А разве гости уехали? – спросил Лаврецкий.

– Точно так-с, – возразил лакей и осклабился. Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.

XLIII

Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон; стакан воды с флер-д'оранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила.

Лаврецкий вошел.

– Вы желали меня видеть, – сказал он, холодно кланяясь.

– Да, – возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. – Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке; я приказала вас просить к себе: мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста. – Марья Дмитриевна перевела дыхание. – Вы знаете, – продолжала она, – ваша жена приехала.

– Это мне известно, – промолвил Лаврецкий.

– Ну да, то есть я хотела сказать: она ко мне приехала и я приняла ее; вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иваныч. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иваныч, она мне родственница – по вас: войдите в мое положение, какое же я имела право отказать ей от дома, – согласитесь?

– Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна, – возразил Лаврецкий, – вы очень хорошо сделали; нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых; сегодня не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться нею, – вот и все.

– Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иваныч, – воскликнула Марья Дмитриевна, – впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств, что я волнуюсь – это не удивительно: я женщина и мать.

А ваша супруга… конечно, я не могу судить вас с нею – это я ей самой сказала; но она такая любезная дама, что, кроме удовольствия, ничего доставить не может.

Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.

– И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иваныч, – продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему, – если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительна! Право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается! Я, говорит, перед ним кругом виновата; я, говорит, не умела ценить его, говорит; это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит: ангел. Раскаяние у ней такое… Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния!

– А что, Марья Дмитриевна, – промолвил Лаврецкий, – позвольте полюбопытствовать: говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела – или как?..

– Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело; думаю, чем бы ее развлечь, – да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный! Помилуйте, Федор Иваныч, она совсем уничтожена, спросите хоть Сергея Петровича; убитая женщина, tout-a-fait,[143] что вы это?

Лаврецкий только плечами пожал.

– А потом, что это у вас за ангелочек эта Адочка, что за прелесть! Как она мила, какая умненькая; по-французски как говорит; и по-русски понимает – меня тетенькой назвала. И знаете ли, этак чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, – совсем этого нет. На вас так похожа, Федор Иваныч, что ужас. Глаза, брови… ну вы, как есть – вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться; но в вашу дочку просто влюбилась.

– Марья Дмитриевна, – произнес вдруг Лаврецкий, – позвольте вас спросить, для чего вы это все мне говорить изволите?

– Для чего? – Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. – А для того, Федор Иваныч, я это говорю, что… ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое близкое участие… я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, mon cousin, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер: простите, простите вашу жену. – Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами. – Подумайте: молодость, неопытность… ну, может быть, дурной пример: не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иваныч, она довольно была наказана.

Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны; она не утирала их: она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой, – думал он, – что же это за пытка, что за день мне выдался сегодня!»

– Вы не отвечаете, – заговорила снова Марья Дмитриевна, – как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили. Федор Иваныч, бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену…

Лаврецкий невольно поднялся со стула; Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли – отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны.

Лаврецкий отступил шаг назад.

– Вы были здесь! – воскликнул он.

– Не вините ее, – поспешно проговорила Марья Дмитриевна, – она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит; я и слушать ее не стала; я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену; идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу (она дернула ее за руку) – и мое благословение…

– Постойте, Марья Дмитриевна, – перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. – Вы, вероятно, любите чувствительные сцены (Лаврецкий не ошибался; Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности); они вас забавляют; но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду: в *этой* сцене не вы главное действующее лицо. Что *вы* хотите от меня, сударыня? – прибавил он, обращаясь к жене. – Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание; я вам не поверю, – и вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны, – вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии; не оттого, что я на вас сержусь, а оттого, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения, и вы сами, в это мгновенье, в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении; вам мало жить у меня в доме, вы желаете жить со мной под одной кровлей – не правда ли?

– Я желаю, чтобы вы меня простили, – проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз.

– Она желает, чтобы вы ее простили, – повторила Марья Дмитриевна.

– И не для себя, для Ады, – шепнула Варвара Павловна.

– Не для нее, для вашей Ады, – повторила Марья Дмитриевна.

– Прекрасно. Вы этого хотите? – произнес с усилием Лаврецкий. – Извольте, я и на это согласен.

Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава богу! – и опять потянула Варвару Павловну за руку. – Примите же теперь от меня…»

– Постойте, говорю вам, – перебил ее Лаврецкий. – Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, – продолжал он, – то есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду – и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу; но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что… что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу: надо покориться. Вы это слово не так поймете… это все равно. Повторяю, я буду жить с вами… или нет, я этого обещать не могу… Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой…

– Дайте же ей по крайней мере на том руку, – промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы.

– Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, – возразил Лаврецкий, – она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики – и помните, Варвара Павловна: уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выедете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться.

Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.

– Вы не берете ее с собою, – крикнула ему вслед Марья Дмитриевна…

– Оставьте его, – шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у ней руки, называть ее своей спасительницей.

Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки; но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало; Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа.

– Как это вы меня не поняли? – толковала она, – ведь я вам сказала: припадите.

– Этак лучше, милая тетушка; не беспокойтесь – все прекрасно, – твердила Варвара Павловна.

– Ну, да ведь и он – холодный, как лед, – заметила Марья Дмитриевна. – Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить? Все мужчины бесчувственны, – сказала она в

заключение и значительно покачала головой.

– Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие, – промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы.

А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.

XLIV

На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого – он не смыкал глаз всю ночь, – но напомнил ему другое воскресенье, когда он, по желанию Лизы, ходил в церковь. Он поспешно встал; какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно печальный звон. Он пришел рано: почти никого еще не было в церкви; дьячок на клиросе читал часы; изредка прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны; шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась; ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление; красные глаза неотвратимо глядели вверх, на образа иконостаса; костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, разом стал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него… «Сын помер», – произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны… «Что для них может заменить утешения церкви?» – подумал Лаврецкий и сам попытался молиться; но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, – но Лиза не приходила. Церковь

стала наполняться народом; ее все не было. Обедня началась, дьякон уже прочитал евангелие, зазвонили к достойной; Лаврецкий подвинулся немного вперед – и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил; прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни: он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла; казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь; с ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице; она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо.

– Здравствуйте, Лизавета Михайловна, – сказал он громко, с насильственной развязностью, – можно вас проводить?

Она ничего не сказала; он отправился с ней рядом.

– Довольны вы мной? – спросил он ее, понизив голос. – Вы слышали, что вчера произошло?

– Да, да, – проговорила она шепотом, – это хорошо.

И она пошла еще быстрей.

– Вы довольны?

Лиза только головой кивнула.

– Федор Иваныч, – начала она спокойным, но слабым голосом, – я хотела вас просить: не ходите больше к нам, уезжайте поскорей; мы можем после увидеться когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня; исполните мою просьбу, ради бога.

– Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна; но неужели мы так должны расстаться: неужели вы мне не скажете ни одного слова?..

– Федор Иваныч, вот вы теперь идете возле меня… А уж вы так далеко, далеко от меня. И не вы одни, а…

– Договаривайте, прошу вас! – воскликнул Лаврецкий, – что вы хотите сказать?

– Вы услышите, может быть… но что бы ни было, забудьте… нет, не забывайте меня, помните обо мне.

– Мне вас забыть…

– Довольно, прощайте. Не идите за мной.

– Лиза, – начал было Лаврецкий…

– Прощайте, прощайте! – повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед.

Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу

на нос и глядя себе под ноги.

Они молча посмотрели друг на друга.

– Ну, что скажете? – проговорил наконец Лаврецкий.

– Что я скажу? – угрюмо возразил Лемм. – Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли (Alles ist todt, und wir sind todt). Ведь вам направо идти?

– Направо.

– А мне налево. Прощайте.

* * *

На следующее утро Федор Иваныч с женою отправился в Лаврики. Она ехала вперед в карете, с Адой и с Жюстиной; он сзади – в тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты; она удивлялась всему: мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей; Жюстина разделяла ее удивление; Варвара Павловна смеялась их замечаниям и восклицаниям. Она была в духе; перед отъездом из города О… она имела объяснение с своим мужем.

– Я понимаю ваше положение, – сказала она ему, – и он, по выражению ее умных глаз, мог заключить, что она понимала его положение вполне, – но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется; я не стану вам навязываться, стеснять вас; я хотела обеспечить будущность Ады; больше мне ничего не нужно.

– Да, вы достигли всех ваших целей, – промолвил Федор Иваныч.

– Я об одном только мечтаю теперь: зарыться навсегда в глуши; я буду вечно помнить ваши благодеяния…

– Фи! полноте, – перебил он ее.

– И сумею уважать вашу независимость и ваш покой, – докончила она свою приготовленную фразу.

Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее.

На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики; неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене тысяч пять на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей. Три дня прогостил Паншин у Варвары Павловны; прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться – и сдержал свое обещание.

XLV

У Лизы была особая, небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкою книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской; Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной.

Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, непролившиеся слезы.

– А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку, – промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. – Как славно пахнет!

Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку.

– Какое вы это произнесли слово! – прошептала она.

– Какое слово, какое? – с живостью подхватила старушка. – Что ты хочешь сказать? Это ужасно, – заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке, – это сверх сил моих: четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю; я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю, не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь, не могу, не могу.

– Да что с вами, тетушка? – промолвила Лиза, – я ничего…

– Ничего? – воскликнула Марфа Тимофеевна, – это ты другим говори, а не мне! Ничего! а кто сейчас стоял на коленях? у кого ресницы еще мокры от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала? – Ничего! разве я не все знаю?

– Это пройдет, тетушка; дайте срок.

– Пройдет, да когда? Господи боже мой владыко! неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается; да ведь что ж такое? все мы хорошие

люди; земля не клином сошлась, этого добра всегда будет много.

– Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло.

– Слушай, Лизочка, что я тебе скажу, – промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. – Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет! Ты только вот скажи себе: «Не поддамся, мол, я, ну его!» – и сама потом как диву дашься, как оно скоро, хорошо проходит. Ты только потерпи.

– Тетушка, – возразила Лиза, – оно уже прошло, все прошло.

– Прошло! какое прошло! Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь: прошло. Хорошо «прошло»!

– Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь, – произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. – Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня.

– Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста; я сейчас закричу, не гляди так на меня; говори скорее, что такое!

– Я… я хочу… – Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны… – Я хочу идти в монастырь, – проговорила она глухо.

Старушка так и подпрыгнула на кровати.

– Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись, что ты это, бог с тобою, – пролепетала она наконец, – ляг, голубушка, усни немножко; это все у тебя от бессонницы, душа моя.

Лиза подняла голову, щеки ее пылали.

– Нет, тетушка, – промолвила она, – не говорите так; я решилась, я молилась, я просила совета у бога; все кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром, да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло: даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего; чувствую я, что мне не житье здесь; я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз; отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду…

Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу.

«Она больна, бредит, – думала она, – надо послать за доктором, да за каким? Гедеоновский намедни хвалил какого-то; он все врет – а может быть, на этот раз и правду сказал». Но когда она убедилась, что

Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку.

– Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя, – начала она ее уговаривать, – какова жизнь-то в монастырях! Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-претолстое, по холоду ходить заставят; ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила; поживи и ты. Дай мне по крайней мере умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой из-за козьей бороды, прости господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя…

И Марфа Тимофеевна горько заплакала.

Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянья Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу: все сказать матери… но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода; зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через шесть месяцев она не изменит своего решения.

* * *

С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул О…скую губернию. В последнее время своего пребывания в О… он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны; он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила: другим словом нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в Б…м монастыре, в одном из отдаленнейших краев России.

Эпилог

Прошло восемь лет. Опять настала весна… Но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, г-жи Лаврецкой – и расстанемся с ними. Михалевич, после долгих странствований, попал наконец на настоящее свое дело: он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его «обожают», хотя и передразнивают его. Паншин сильно подвинулся в чинах и метит уже в директоры; ходит несколько согнувшись: должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником; его все еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, и он уже не поет, не рисует, но втайне занимается литературой: написал комедийку, вроде «пословиц», и так как теперь все пишущие непременно «выводят» кого-нибудь или что-нибудь, то и он вывел в ней кокетку и читает ее исподтишка двум-трем благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев: в этом виновата Варвара Павловна. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже: Федор Иваныч дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но все еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал; Варвара Павловна нашла свой – в драматических произведениях г-на Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чахоточные и чувствительные камелии; быть г-жою Дош кажется ей верхом человеческого благополучия: она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должно надеяться, что судьба избавит mademoiselle Ada от подобного благополучия: из румяного, пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую, бледненькую девочку; нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись; некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяным из них в последнее время был некто Закурдало-Скубырников, из отставных гвардейских усоносов, человек лет тридцати восьми, необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона г-жи Лаврецкой называют его «le gros taureau de l'Ukraine»;[144] Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне.

Итак… прошло восемь лет. Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны; опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело. Город О… мало изменился в течение этих восьми лет; но дом Марьи Дмитриевны как будто помолодел: его недавно выкрашенные стены белели приветно и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце; из этих окон неслись на улицу радостные легкие звуки звонких молодых голосов, беспрерывного смеха; весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу: Марья Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы; и Марфа Тимофеевна недолго пережила свою племянницу; рядом покоятся они на городском кладбище. Не стало и Настасьи Карповны; верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы… Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марьи Дмитриевны не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось: Леночка, превратившаяся в стройную, красивую девушку, и ее жених – белокурый гусарский офицер, сын Марьи Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой приехавший на весну в О…, сестра его жены, шестнадцатилетняя институтка с алыми щеками и ясными глазками, Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая, – вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены калитинского дома. Все в нем изменилось, все стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры, заменили прежних степенных стариков; там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роска, две легавые собаки бешено возились и прыгали по диванам; на конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники, рьяные пристяжные с плетеными гривами, донские верховые кони; часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались; пошли, по выражению соседей, «порядки небывалые».

В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели калитинского дома (старшему из них, жениху Леночки, было всего двадцать четыре года) занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанью, весьма для них забавной игрой: они бегали по комнатам и ловили друг друга: собаки тоже бегали и лаяли, и висевшие в клетках перед окнами канарейки наперерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетанья. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока пяти, в дорожном платье, вылез из него

и остановился в изумленье. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно взобрался на крыльцо. В передней никто его не встретил; но дверь залы быстро распахнулась – из нее, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка, и мгновенно, вслед за ней, с звонким криком выбежала вся молодая ватага. Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого; но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марьи Дмитриевны подошел к гостю и приветливо спросил его, что ему угодно?

– Я Лаврецкий, – промолвил гость.

Дружный крик раздался ему в ответ – и не потому, чтобы вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили: Леночка, как старинная знакомая, первая назвала себя, уверила его, что еще бы немножко – и она непременно его бы узнала, и представила ему все остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в обеих комнатах были другие, но мебель уцелела; Лаврецкий узнал фортепьяно; даже пяльцы у окна стояли те же, в том же положении – и чуть ли не с тем же неконченым шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили на покойное кресло; все чинно уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались наперерыв.

– А давно мы вас не видали, – наивно заметила Леночка, – и Варвару Павловну тоже не видали.

– Еще бы! – поспешно подхватил ее брат. – Я тебя в Петербург увез, а Федор Иваныч все жил в деревне.

– Да, ведь с тех пор и мамаша скончалась.

– И Марфа Тимофеевна, – промолвила Шурочка.

– И Настасья Карповна, – возразила Леночка, – и мосье Лемм…

– Как? и Лемм умер? – спросил Лаврецкий.

– Да, – отвечал молодой Калитин, – он уехал отсюда в Одессу; говорят, кто-то его туда сманил; там он и скончался.

– Вы не знаете, музыки после него не осталось?

– Не знаю; едва ли.

Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица.

– А Матроска жив, – заговорила вдруг Леночка.

– И Гедеоновский жив, – прибавил ее брат.

При имени Гедеоновского разом грянул дружный смех.

– Да, он жив и лжет по-прежнему, – продолжал сын Марьи Дмитриевны, – и вообразите, вот эта егоза (он указал на институтку, сестру своей жены) вчера ему перцу в табакерку насыпала.

– Как он чихал! – воскликнула Леночка, и снова зазвенел неудержимый смех.

– Мы о Лизе недавно имели вести, – промолвил молодой Калитин, – и опять кругом все притихло, – ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу.

– Она все в той же обители? – спросил не без усилия Лаврецкий.

– Все в той же.

– Она к вам пишет?

– Нет, никогда; к нам через людей вести доходят.

Сделалось внезапное, глубокое молчанье; вот «тихий ангел пролетел», – подумали все.

– Не хотите ли вы в сад? – обратился Калитин к Лаврецкому, – он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко.

Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, – была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, не повторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести, – чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям: липы немного постарели и выросли в последние восемь лет, тень их стала гуще; зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью.

– Вот где хорошо бы играть в четыре угла, – вскрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами, – нас, кстати, пятеро.

– А Федора Ивановича ты забыла? – заметил ее брат. – Или ты себя не считаешь?

Леночка слегка покраснела.

– Да разве Федор Иванович, в его лета, может… – начала она.

– Пожалуйста, играйте, – поспешно подхватил Лаврецкий, – не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего; у нашего брата, старика, есть занятие, которого вы еще не ведаете и которого никакое развлечение заменить не может: воспоминания.

Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть

насмешливой почтительностью, – точно им учитель урок прочел, – и вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну; четверо стало около деревьев, один на середине – и началась потеха.

А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепьяно и коснулся одной из клавиш: раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце: этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой, давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лемм, покойный Лемм, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее: в этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ; ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия; но грусть о ней была томительна и не легка: в ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко; он думал о ней, как о живой, и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих восьми лет совершился наконец перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца; он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и – к чему таить правду? – постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян.

Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке – и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслажденья, – он, одинокий, бездомный странник, под долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого поколения, – оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалеть ему было о чем, стыдиться – нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, – думал он, и не было горечи в его думах, – жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди марка; мы хлопотали о том, как бы

уцелеть – и сколько из нас не уцелело! – а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. А мне, после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон – и хотя с печалью, но без зависти, без всяких темных чувств сказать, в виду конца, в виду ожидающего бога: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!“

Лаврецкий тихо встал и тихо удалился; его никто не заметил, никто не удерживал; веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей.

* * *

«И конец? – спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. – А что же сталось потом с Лаврецким? С Лизой?» Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства… На них можно только указать – и пройти мимо.

Отцы и дети

Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича Белинского

I

– Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».

– Не видать? – повторил барин.

– Не видать, – вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», – в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные

шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, – словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович – хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки – должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом,[145] и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб,[146] но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец – в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена

Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться… но тут настал 48-й год.[147] Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, – и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын… кандидат… Аркаша…» – беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена… «Не дождалась!» – шепнул он уныло… Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес…

– Никак, они едут-с, – доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица…

– Аркаша! Аркаша! – закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками… Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

– Дай же отряхнуться, папаша, – говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, – я тебя всего запачкаю.

– Ничего, ничего, – твердил, умиленно улыбаясь, Николай

Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. – Покажи-ка себя, покажи-ка, – прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

– Папаша, – сказал он, – позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

– Душевно рад, – начал он, – и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь… позвольте узнать ваше имя и отчество?

– Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, – продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

– Так как же, Аркадий, – заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, – сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

– Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

– Сейчас, сейчас, – подхватил отец. – Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

– Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, – хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, – только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой

приятель…

– Он в тарантасе поедет, – перебил вполголоса Аркадий. – Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой – ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

– Ну, поворачивайся, толстобородый! – обратился Базаров к ямщику.

– Слышь, Митюха, – подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, – барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

– Живей, живей, ребята, подсобляйте, – воскликнул Николай Петрович, – на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку – и оба экипажа покатили.

III

– Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, – говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. – Наконец!

– А что дядя? здоров? – спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

– Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

– А ты долго меня ждал? – спросил Аркадий.

– Да часов около пяти.

– Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

– Какую я тебе славную лошадь приготовил! – начал он, – ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

– А для Базарова комната есть?

– Найдется и для него.

– Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до

какой степени я дорожу его дружбой.

– Ты недавно с ним познакомился?

– Недавно.

– То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

– Главный предмет его – естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

– А! он по медицинскому факультету, – заметил Николай Петрович и помолчал. – Петр, – прибавил он и протянул руку, – это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

– Точно так-с, – промолвил Петр.

– Куда это они едут, в город, что ли?

– Полагать надо, что в город. В кабак, – прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

– Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, – продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. – Не платят оброка. [148] Что ты будешь делать?

– А своими наемными работниками ты доволен?

– Да, – процедил сквозь зубы Николай Петрович. – Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется – мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

– Тени нет у вас, вот что горе, – заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

– Я с северной стороны над балконом большую маркизу[149] приделал, – промолвил Николай Петрович, – теперь и обедать можно на воздухе.

– Что-то на дачу больно похоже будет… а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь…

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

– Конечно, – заметил Николай Петрович, – ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным…

– Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

– Однако…

– Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

– Не помню, писал ли я тебе, – начал Николай Петрович, – твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

– Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

– Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

– Приказчик у тебя все тот же?

– Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet,[150] – заметил вполголоса Николай Петрович, – но ведь он – камердинер.[151] Теперь у меня приказчик[152] из мещан:[153] кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, – прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, – я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине… Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя…

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

– Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета… Словом, эта… эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал…

– Фенечка? – развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

– Не называй ее, пожалуйста, громко… Ну да… она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме… там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

– Помилуй, папаша, зачем?

– Твой приятель у нас гостить будет… неловко…

– Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

– Ну, ты, наконец, – проговорил Николай Петрович. – Флигелек-то плох – вот беда.

– Помилуй, папаша, – подхватил Аркадий, – ты как будто

извиняешься; как тебе не совестно.

– Конечно, мне должно быть совестно, – отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

– Полно, папаша, полно, сделай одолжение! – Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» – подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. – Перестань, пожалуйста, – повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце… Но он тут же обвинил себя.

– Вот это уж наши поля пошли, – проговорил он после долгого молчания.

– А это впереди, кажется, наш лес? – спросил Аркадий.

– Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

– Зачем ты его продал?

– Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

– Которые тебе оброка не платят?

– Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

– Жаль леса, – заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами[154] возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей – и, вызванный

жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня, вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами… «Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы… но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий… а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

– Теперь уж недалеко, – заметил Николай Петрович, – вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

– Конечно, – промолвил Аркадий, – но что за чудный день сегодня!

– Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным – помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое…

– Аркадий! – раздался из тарантаса голос Базарова, – пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

– Хочешь сигарку? – закричал опять Базаров.

– Давай, – отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого

табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий Хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку[155] с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – приехал к нам наконец… Что? как ты его находишь?

– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно.

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон.

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич,

как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют*,[156] модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной: особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»,[157] он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил:

– Добро пожаловать.

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на дороге случилось?

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

– Постой, я с тобой пойду! – воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана.

Оба молодые человека вышли.

– Кто сей? – спросил Павел Петрович.

– Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

– Он у нас гостить будет?

– Да.

– Этот волосатый?

– Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

– Я нахожу, что Аркадий s'est degourdi,[158] – заметил он. – Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т.д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или, скорее, восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

– А чудаковат у тебя дядя, – говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. – Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

– Да ведь ты не знаешь, – ответил Аркадий, – ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

– Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

– Пожалуй; только он, право, хороший человек.

– Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

– Отец у меня золотой человек.

– Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

– Удивительное дело, – продолжал Базаров, – эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения… ну,

равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо – английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного… О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле,[159] перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер *Galignani*,[160] но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя… Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке[161] и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! – подумал он, посмотрев кругом, – местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

– На что тебе лягушки, барин? – спросил его один из мальчиков.

– А вот на что, – отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, – я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

– Да на что тебе это?

– А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

– Разве ты дохтур?

– Да.

– Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

– Я их боюсь, лягушек-то, – заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

– Чего бояться? разве они кусаются?

– Ну, полезайте в воду, философы, – промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая

накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

– Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

– Я сам разолью, сам, – поспешно подхватил Николай Петрович. – Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

– Со сливками, – отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: – Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

– Что? – промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

– Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, – начал он, – но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность… ты не рассердишься?..

– Говори.

– Ты мне даешь смелость спросить тебя… Не оттого ли Фен… не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

– Может быть, – проговорил он наконец, – она предполагает… она стыдится…

Аркадий быстро вскинул глаза на отца.

– Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых – захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

– Спасибо, Аркаша, – глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. – Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила… Это не легкомысленная прихоть. Мне нелегко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

– В таком случае, я сам пойду к ней, – воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. – Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

– Аркадий, – начал он, – сделай одолжение… как же можно… там… Я тебя не предварил…

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось… Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

– Мы познакомились, отец! – воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. – Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия… Аркадий бросился ему на шею.

– Что это? опять обнимаетесь? – раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

– Чему ж ты удивляешься? – весело заговорил Николай Петрович. – В кои-то веки дождался я Аркаши… Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

– Я вовсе не удивляюсь, – заметил Павел Петрович, – я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались

в выбритый подбородок.

– Где же новый твой приятель? – спросил он Аркадия.

– Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

– Да, это заметно. – Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. – Долго он у нас прогостит?

– Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

– А отец его где живет?

– В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.

– Тэ-тэ-тэ-тэ… То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

– Кажется, был.

– Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! – Павел Петрович повел усами. – Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? – спросил он с расстановкой.

– Что такое Базаров? – Аркадий усмехнулся. – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?

– Сделай одолжение, племянничек.

– Он нигилист.[162]

– Как? – спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

– Он нигилист, – повторил Аркадий.

– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского *nihil, ничего,* сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?

– Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

– Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.

– А это не все равно? – спросил Павел Петрович.

– Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

– И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович.

– Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

– Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого

века, мы полагаем, что без принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela,[163] дай вам бог здоровья и генеральский чин,[164] а мы только любоваться вами будем, господа… как бишь?

– Нигилисты, – отчетливо проговорил Аркадий.

– Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

– Здравствуй, Фенечка, – проговорил он сквозь зубы.

– Здравствуйте-с, – ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

– Вот и господин нигилист к нам жалует, – промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью[165] его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

– Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

– Что это у вас, пиявки? – спросил Павел Петрович.

– Нет, лягушки.

– Вы их едите или разводите?

– Для опытов, – равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

– Это он их резать станет, – заметил Павел Петрович. – В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «дибоширничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп, – сказал он между прочим, – всюду протестовал себя[166] дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

– Вы далеко отсюда ходили? – спросил наконец Николай Петрович.

– Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов,[167] ты можешь убить их, Аркадий.

– А вы не охотник?

– Нет.

– Вы собственно физикой занимаетесь? – спросил в свою очередь Павел Петрович.

– Физикой, да; вообще естественными науками.

– Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

– Да, немцы в этом наши учители, – небрежно отвечал Базаров.

Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

– Вы столь высокого мнения о немцах? – проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

– Тамошние ученые дельный народ.

– Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

– Пожалуй, что так.

– Это очень похвальное самоотвержение, – произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. – Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

– Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

– А немцы все дело говорят? – промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

– Не все, – ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

– Что касается до меня, – заговорил он опять, не без некоторого усилия, – я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были – ну, там Шиллер,[168] что ли, *Гёте*[169]... Брат вот им особенно благоприятствует… А теперь пошли все какие-то химики да материалисты…

– Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, – перебил Базаров.

– Вот как, – промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. – Вы, стало быть, искусства не признаете?

– Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! – воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

– Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

– Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

– Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

– Что это, допрос? – спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел… Николай Петрович почел

должным вмешаться в разговор:

– Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих[170] сделал удивительные открытия насчет удобрений полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

– Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза[171] не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», – подумал Николай Петрович.

– Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, – прибавил он вслух. – А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

– Да, – проговорил он, ни на кого не глядя, – беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там – хвать! – оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак.[172] Что делать! Видно, молодежь, точно, умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

– Что, он всегда у вас такой? – хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

– Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, – заметил Аркадий. – Ты его оскорбил.

– Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки,[173] фатство.[174] Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад… А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу.

– Я тебе обещался рассказать его историю, – начал Аркадий.

– Историю жука?

– Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

– Я не спорю; да что он тебе так дался?

– Надо быть справедливым, Евгений.

– Это из чего следует?

– Нет, слушай…

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в Пажеском корпусе.[175] Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен – он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять-шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над Псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза – они были невелики и серы, – но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, – загадочный взгляд. Что-то необычайное

светилось в нем, даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе – бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью: она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» – спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

– Что это? – спросила она, – сфинкс?

– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы.

– Я? – спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. – Знаете ли, что это очень лестно? – прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие… но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ

слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене[176] он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила… но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна… Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностию, – знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления,

когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

– Я не зову теперь тебя в Марьино, – сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), – ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

– Я был еще глуп и суетлив тогда, – отвечал Павел Петрович, – с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее, даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном[177] у Людовика-Филиппа;[178] за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами…

– Вот видишь ли, Евгений, – промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, – как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, – имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, – но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон…

– Известное дело: нервы, – перебил Базаров.

– Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы… особенно… особенно

насчет отношений к женщинам.

– Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

– Ну, словом, – продолжал Аркадий, – он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его – грешно.

– Да кто его презирает? – возразил Базаров. – А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

– Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, – заметил Аркадий.

– Воспитание? – подхватил Базаров. – Всякий человек сам себя воспитать должен – ну хоть как я, например… А что касается до времени – отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с» – и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent»,[179] – и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, – рассуждал он сам с собою, – его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, – говаривал он, – а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

– Кто там? Войдите, – раздался голос Фенечки.

– Это я, – проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

– Извините, если я помешал, – начал Павел Петрович, не глядя на нее, – мне хотелось только попросить вас… сегодня, кажется, в город

посылают… велите купить для меня зеленого чаю.

– Слушаю-с, – отвечала Фенечка, – сколько прикажете купить?

– Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, – прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. – Занавески вот, – промолвил он, видя, что она его не понимает.

– Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

– Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

– По милости Николая Петровича, – шепнула Фенечка.

– Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? – спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

– Конечно, лучше-с.

– Кого теперь на ваше место поместили?

– Теперь там прачки.

– А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», – думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

– Отчего вы велели вашего маленького вынести? – заговорил наконец Павел Петрович. – Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

– Дуняша, – кликнула она, – принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы)*. А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

– Да все равно, – заметил Павел Петрович.

– Я сейчас, – ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка

написала крупными буквами «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, – больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой – Ермолов,[180] в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том *Стрельцов*[181] Масальского, перевернул несколько страниц… Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

– Экой бутуз, – снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

– Это дядя, – промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

– Сколько, бишь, ему месяцев? – спросил Павел Петрович.

– Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

– Не восьмой ли, Федосья Николаевна? – не без робости вмешалась Дуняша.

– Нет, седьмой; как можно! – Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы. – Баловник, – проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

– Он похож на брата, – заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» – подумала Фенечка.

– Да, – продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович, – несомненное сходство.

Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

– Это дядя, – повторила она, уже шепотом.

– А! Павел! вот где ты! – раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

– Славный у тебя мальчуган, – промолвил он и посмотрел на часы, – а я завернул сюда насчет чаю…

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

– Сам собою зашел? – спросил Фенечку Николай Петрович.

– Сами-с; постучались и вошли.

– Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

– Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

– Это зачем?

– Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

– Н… нет, – произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. – Надо было прежде… Здравствуй, пузырь, – проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

– Николай Петрович! что вы это? – пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их… Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» – пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну

только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», – сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки.

Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

– Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

– Здравствуйте, – прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать, Арина, умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так

одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный… Остальное досказывать нечего…

– Так-таки брат к тебе и вошел? – спрашивал ее Николай Петрович. – Постучался и вошел?

– Да-с.

– Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая, при всяком его взлете, протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance[182] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином… Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

– Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши черноземy. Вон беседка принялась хорошо, – прибавил он, – потому что акация да сирень – ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

– Кто это? – спросил его Базаров, как только они прошли мимо. – Какая хорошенькая!

– Да ты о ком говоришь?

– Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

– Ага! – промолвил Базаров. – У твоего отца, видно, губа не дура. А

он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться, – прибавил он и отправился назад к беседке.

– Евгений! – с испугом крикнул ему вослед Аркадий. – Осторожней, ради бога.

– Не волнуйся, – проговорил Базаров, – народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

– Позвольте представиться, – начал он с вежливым поклоном, – Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

– Какой ребенок чудесный! – продолжал Базаров. – Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

– Да-с, – промолвила Фенечка. – Четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

– Покажите-ка… Да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

– Вижу, вижу… Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

– Здорова, слава богу.

– Слава богу – лучше всего. А вы? – прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

– Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

– Как он у вас тихо сидел, – промолвила она вполголоса.

– У меня все дети тихо сидят, – отвечал Базаров, – я такую штуку знаю.

– Дети чувствуют, кто их любит, – заметила Дуняша.

– Это точно, – подтвердила Фенечка. – Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

– А ко мне пойдет? – спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

– В другой раз, когда привыкнуть успеет, – снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

– Как, бишь, ее зовут? – спросил Базаров.

– Фенечкой… Федосьей, – ответил Аркадий.

– А по батюшке?.. Это тоже нужно знать.

– Николаевной.

– *Bene*.[183] Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать – ну и права.

– Она-то права, – заметил Аркадий, – но вот отец мой…

– И он прав, – перебил Базаров.

– Ну, нет, я не нахожу.

– Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

– Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! – с жаром подхватил Аркадий. – Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

– Эге-ге! – спокойно проговорил Базаров. – Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

– Видел я все заведения твоего отца, – начал опять Базаров. – Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

– Строг же ты сегодня, Евгений Васильич.

– И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопает».

– Я начинаю соглашаться с дядей, – заметил Аркадий, – ты решительно дурного мнения о русских.

– Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

– И природа пустяки? – проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

– И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

– Это что? – произнес с изумлением Базаров.

– Это отец.

– Твой отец играет на виолончели?

– Да.

– Да сколько твоему отцу лет?

– Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

– Чему же ты смеешься?

– Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias,[184] в…м уезде – играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал,[185] Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его – его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, – и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами – настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году – первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители …й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять – он прогулок без цели терпеть не мог, – а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел

к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

– Ты отца недостаточно знаешь, – говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

– Твой отец добрый малый, – промолвил Базаров, – но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом… Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

– Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, – продолжал между тем Базаров. – Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

– Что бы ему дать? – спросил Аркадий.

– Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft»[186] на первый случай.

– Я сам так думаю, – заметил одобрительно Аркадий. – «Stoff und Kraft» написано популярным языком.

– Вот как мы с тобой, – говорил в тот же день, после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: – в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

– Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? – с нетерпением воскликнул Павел Петрович. – Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

– Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

– И самолюбие какое противное, – перебил опять Павел Петрович.

– Да, – заметил Николай Петрович, – он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным* величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, – а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

– Это почему?

– А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина… помнится,

«Цыгане» мне попались… Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую… улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

– Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

– Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера,[187] девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

– Гм! – промычал он. – Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

– Пробовал.

– Ну и что же?

– Либо я глуп, либо это все – вздор. Должно быть, я глуп.

– Да ты по-немецки не забыл? – спросил Павел Петрович.

– Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

– Да, кстати, – начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. – Я получил письмо от Колязина.

– От Матвея Ильича?

– От него. Он приехал в*** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

– Ты поедешь? – спросил Павел Петрович.

– Нет; а ты?

– И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

– Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, – заметил со вздохом Николай Петрович.

– Ну, я так скоро не сдамся, – пробормотал его брат. – У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в

присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», – равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

– Я сказал: «аристократишко», – проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

– Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, – повторил он с ожесточением, – английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

– Слыхали мы эту песню много раз, – возразил Базаров, – но что вы хотите этим доказать?

– Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни – *эфто,* другие – *эхто:* мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному… bien public…[188] общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства

самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует…

– Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

– Как так?

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов, – вмешался Аркадий.

– Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.

– Все?

– Все.

– Как? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить…

– Все, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

– Однако позвольте, – заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить.

– Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить.

– Современное состояние народа этого требует, – с важностью прибавил Аркадий, – мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

– Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры…

– Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже готов согласиться, что в *этом* вы правы.

– А если я прав…

– И все-таки это ничего не доказывает.

– Именно ничего не доказывает, – повторил Аркадий с уверенностию опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

– Как ничего не доказывает? – пробормотал изумленный Павел Петрович. – Стало быть, вы идете против своего народа?

– А хоть бы и так? – воскликнул Базаров. – Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский?

– Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

– Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров. – Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

– А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

– Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

– Как же! Очень нужны нигилисты!

– Нужны ли они или нет – не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

– Господа, господа, пожалуйста, без личностей! – воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

– Не беспокойся, – промолвил он. – Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин… господин доктор. Позвольте, – продолжал он, обращаясь снова к Базарову, – вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным…

– Опять иностранное слово! – перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. – Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках…

– Что же вы делаете?

– А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда…

– Ну да, да, вы обличители, – так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но…

– А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству;[189] мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

– Так, – перебил Павел Петрович, – так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

– И решились ни за что не приниматься, – угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

– А только ругаться?

– И ругаться.

– И это называется нигилизмом?

– И это называется нигилизмом, – повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

– Так вот как! – промолвил он странно спокойным голосом. – Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров.

– Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

– Гм!.. Действовать, ломать… – продолжал он. – Но как же это ломать, не зная даже почему?

– Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий. Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

– Да, сила – так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился.

– Несчастный! – возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, – хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией![190] Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила – да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur*,[191] тапёр, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех – миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

– Коли раздавят, туда и дорога, – промолвил Базаров. – Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

– Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

– От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, – ответил Базаров.

– Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой.[192] Рафаэля[193] считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости; а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

– По-моему, – возразил Базаров, – Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

– Браво! браво! Слушай, Аркадий… вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

– Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, – флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. – Спор наш зашел слишком далеко… Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, – прибавил он вставая, – когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

– Я вам миллионы таких постановлений представлю, – воскликнул Павел Петрович, – миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

– Ну, насчет общины, – промолвил он, – поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

– Семья, наконец, семья, так как она существует у наших крестьян! – закричал Павел Петрович.

– И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем…

– Надо всем глумиться, – подхватил Павел Петрович.

– Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

– Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя молодежь! Вот они – наши наследники!

– Наследники, – повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. – Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать… Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька – а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

– Ты уже чересчур благодушен и скромен, – возразил Павел Петрович, – я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*,[194] и не имеем той дерзкой самонадеянности… И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: «Какого вина вы хотите, красного или белого?» – «Я имею привычку предпочитать красное!» – отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновенье…

– Вам больше чаю не угодно? – промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

– Нет, ты можешь велеть самовар принять, – отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: bon soir,[195] и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и

свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами… Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи: он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, боже мой!» – подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, «Stoff und Kraft» – и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения… и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur»,[196] а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом

первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость… Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле… «Но, – думал он, – те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним…

– Николай Петрович, – раздался вблизи его голос Фенечки, – где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно… Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее…

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся – и исчез.

– Я здесь, – отвечал он, – я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства», – мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой…

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

– Что с тобой? – спросил он Николая Петровича, – ты бледен, как

привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая[197] душа…

– Знаешь ли что? – говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. – Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

– А оттуда ты вернешься сюда?

– Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал и мать тоже: надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

– И долго ты у них пробудешь?

– Не думаю. Чай, скучно будет.

– А к нам на возвратном пути заедешь?

– Не знаю… посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

– Пожалуй, – лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула… но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем,[198] отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать

доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде.[199] Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима, – говаривал он тогда, – l'energie est la première qualite d'un homme d'ètat»;[200] а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо[201] и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни… Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной,[202] жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка;[203] только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец, и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа́ всегда», – заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока,[204] и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но,

озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favourite»,[205] как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с… с… с…ство».

– А? Что? Что такое? Что вы говорите? – напряженно повторяет сановник.

– Сегодня пятница, ваше с… с…ство.

– Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

– Пятница, ваше с… ссс…ссс…ство, день в неделе.

– Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

– Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, – сказал он Аркадию, – ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом… ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

– Вы будете на этом бале? – спросил Аркадий.

– Он для меня его дает, – проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. – Ты танцуешь?

– Танцую, только плохо.

– Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм[206] смешон, il a fait son temps.[207]

– Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не…

– Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко, – перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся. – Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку…». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его

уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! – сказал наконец Базаров. – Взялся за гуж[208] – не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков – давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, недоедал и недопивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу,[209] намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильевич!» – бросился к Базарову.

– А! это вы, герр Ситников, – проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару, – какими судьбами?

– Вообразите, совершенно случайно, – отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: – Ступай за нами, ступай! У моего отца здесь дело, – продолжал он, перепрыгивая через канавку, – ну, так он меня просил… Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас… (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой – славянскою вязью.[210]) Я надеюсь, вы не от губернатора!

– Не надейтесь, мы прямо от него.

– А! в таком случае и я к нему пойду… Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим… с ними…

– Ситников, Кирсанов, – проворчал, не останавливаясь, Базаров.

– Мне очень лестно, – начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. – Я очень много слышал… Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать – его ученик. Я ему обязан моим перерождением…

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

– Поверите ли, – продолжал он, – что, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! «Вот, – подумал я, – наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич,

вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слыхали о ней?

– Кто такая? – произнес нехотя Базаров.

– Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée[211] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

– Нет еще.

– Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

– Хорошенькая она? – перебил Базаров.

– Н… нет, этого нельзя сказать.

– Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

– Ну, шутник, шутник… Она нам бутылку шампанского поставит.

– Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?

– По откупам, – торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. – Что же? идет?

– Не знаю, право.

– Ты хотел людей смотреть, ступай, – заметил вполголоса Аркадий.

– А вы-то что ж, господин Кирсанов? – подхватил Ситников. – Пожалуйте и вы; без вас нельзя.

– Да как же это мы все разом нагрянем?

– Ничего! Кукшина – человек чудный.

– Бутылка шампанского будет? – спросил Базаров.

– Три! – воскликнул Ситников. – За это я ручаюсь!

– Чем?

– Собственною головою.

– Лучше бы мошною батюшки. А впрочем, пойдем.

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия)* Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

– Это вы, Victor? – раздался тонкий голос из соседней комнаты. – Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

– Я не один, – промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

– Все равно, – отвечал голос. – Entrez.[212]

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос.

На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor», – и пожала Ситникову руку.

– Базаров, Кирсанов, – проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

– Милости просим, – отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: – Я вас знаю, – и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно

скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят, – нарочно, то есть не просто, не естественно.

– Да, да, я знаю вас, Базаров, – повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, – с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) – Хотите сигару?

– Сигарку сигаркой, – подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, – а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

– Сибарит, – промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) – Не правда ли, Базаров, он сибарит?

– Я люблю комфорт жизни, – произнес с важностию Ситников. – Это не мешает мне быть либералом.

– Нет, это мешает, мешает! – воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского. – Как вы об этом думаете? – прибавила она, обращаясь к Базарову. – Я уверена, вы разделяете мое мнение.

– Ну нет, – возразил Базаров, – кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения.

– А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

– Мастику? вы?

– Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

– Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов, – проговорил Аркадий, – и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

– Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

– За что?

– Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда.[213] Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном![214] Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время – как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич![215] Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

– Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

– Вы опасный господин; вы такой критик. Ах, боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей – удивительный тип, точно Патфайндер[216] Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

– Город как город, – хладнокровно заметил Базаров.

– Все такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве… но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь… уж я не знаю – тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

– В Париж, разумеется? – спросил Базаров.

– В Париж и в Гейдельберг.[217]

– Зачем в Гейдельберг?

– Помилуйте, там Бунзен![218]

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

– Pierre Сапожников… вы его знаете?

– Нет, не знаю.

– Помилуйте, Pierre Сапожников… он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

– Я и ее не знаю.

– Ну, вот он взялся меня проводить… Слава богу, я свободна, у меня нет детей… Что это я сказала: *слава богу!* Впрочем, это все равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

– А вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

– По моей, по моей, – пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

– Есть здесь хорошенькие женщины? – спросил Базаров, допивая третью рюмку.

– Есть, – отвечала Евдоксия, – да все они такие пустые. Например, mon amie[219] Одинцова – недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то… Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего… этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

– Ничего вы с ними не сделаете, – подхватил Ситников. – Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

– Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, – промолвил Базаров.

– О ком вы говорите? – вмешалась Евдоксия.

– О хорошеньких женщинах.

– Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?[220]

Базаров надменно выпрямился.

– Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои.

– Долой авторитеты! – закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

– Но сам Маколей[221]… – начала было Кукшина.

– Долой Маколея! – загремел Ситников. – Вы заступаетесь за этих бабенок?

– Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

– Долой! – Но тут Ситников остановился. – Да я их не отрицаю, – промолвил он.

– Нет, я вижу, вы славянофил!

– Нет, я не славянофил, хотя, конечно…

– Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя*.[222] Вам бы плетку в руки!

– Плетка дело доброе, – заметил Базаров, – только мы вот добрались до последней капли…

– Чего? – перебила Евдоксия.

– Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.

– Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, – продолжала Евдоксия. – Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле «De l'amour».[223] Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, – прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

– Нет, зачем говорить о любви, – промолвил Базаров, – а вот вы упомянули об Одинцовой… Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

– Прелесть! прелесть! – запищал Ситников. – Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!.»

– Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление, и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец.

– Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало, – заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое

слово, – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников вскочил вслед за ними.

– Ну что, ну что? – спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, – ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше. Она, в своем роде, высоконравственное явление.

– А это заведение *твоего* отца тоже нравственное явление? – промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал собственно из уважения к нему, а губернатор, даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех – одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier français»[224] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я…» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchanté».[225] Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi»[226] и т.п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком,* и в то же время говорил «si j'aurais» вместо «si j'avais»,[227] «absolument»[228] в смысле: «непременно», словом, выражался на том

великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось, и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

– Вы с ней знакомы? – спросил Аркадий Ситникова.

– Коротко. Хотите, я вас представлю?

– Пожалуй… после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

– Это что за фигура? – проговорил он. – На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

– Точно так.

– Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, – продолжала она, – я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась.

– Вы разве танцуете? – почтительно спросил Аркадий.

– Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

– Помилуйте, как можно… Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

– Извольте, – сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда при первых звуках мазурки он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастием находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое…

– С кем вы это стояли? – спросила она его, – когда господин Ситников подвел вас ко мне?

– А вы его заметили? – спросил в свою очередь Аркадий. – Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле». Он говорил о нем

так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным… но молодые сердца не тяготятся этим чувством.

Музыка умолкла.

– Merci, – промолвила Одинцова, вставая. – Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании», – почувствовал на душе какое-то изящное смирение…

– Ну что? – спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок, – получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа – ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно – ой-ой-ой?

– Я этого определенья не совсем понимаю, – отвечал Аркадий.

– Вот еще! Какой невинный!

– В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила – бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что…

– В тихом омуте… ты знаешь! – подхватил Базаров. – Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

– Может быть, – пробормотал Аркадий, – я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

– Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была – просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но – как это часто случается – он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось…

– Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах! – проговорил он вполголоса.

– Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически-злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

– Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа, – говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. – Чувствует мой нос, что тут что-то неладно.

– Я тебе удивляюсь! – воскликнул Аркадий. – Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую…

– Экой ты чудак! – небрежно перебил Базаров. – Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «неладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика – дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» – подумал он и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича

Локтева, известного красавца, аферista и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне – двадцати и Катерине – двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х……, скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, – к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х……ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши… Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик,[229] пухлый, тяжелый и кислый, впрочем не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, – а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города ***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия… «Вы понимаете чего?» – договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», – говорили о ней; а известный губернский остряк

обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости – и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Приятели наконец поднялись и стали прощаться.

Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошею улыбкой проговорила:

– Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

– Помилуйте, Анна Сергеевна, – воскликнул Аркадий, – я за особенное счастье почту…

– А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился – и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

– Ну? – говорил он ему на улице, – ты все того же мнения, что она

– ой-ой-ой?

– А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! – возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: – Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

– Наши герцогини так по-русски не говорят, – заметил Аркадий.

– В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

– А все-таки она прелесть, – промолвил Аркадий.

– Этакое богатое тело! – продолжал Базаров. – Хоть сейчас в анатомический театр.

– Перестань, ради бога, Евгений! это ни на что не похоже.

– Ну, не сердись, неженка. Сказано – первый сорт. Надо будет поехать к ней.

– Когда?

– Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати – и моего отца усадьбишка оттуда недалеко. Ведь это Никольское по *** дороге?

– Да.

– Optime.[230] Нечего мешкать; мешкают одни дураки – да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

– Поздравь меня, – воскликнул вдруг Базаров, – сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, – прибавил он, понизив голос… – Ну, подождут, что за важность!

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco[231] над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

– Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, – доложил дворецкий. – Не будет ли от вас покамест каких приказаний?

– Никаких приказаний не будет, почтеннейший, – ответил Базаров, – разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

– Слушаю-с, – промолвил дворецкий не без недоуменья и удалился, скрипя сапогами.

– Какой гранжанр![232] – заметил Базаров, – кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

– Хороша герцогиня, – возразил Аркадий, – с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

– Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук… Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?.. Как Сперанский,[233] – прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. – А

все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал… но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины – и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, *сам,* – шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: – Аль удрать?» Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

– Благодарствуйте, что сдержали слово, – начала она, – погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсьё Базаров, это все равно; но вы, мсьё Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич[234] с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал», – думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

– Вот вам и моя Катя, – проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

– Это ты все сама нарвала? – спросила Одинцова.

– Сама, – отвечала Катя.

– А тетушка придет к чаю?

– Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи… Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

– Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич, – начала она. – Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

– О чем прикажете-с? – промолвил он.

– О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

– Вы?

– Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

– Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

– Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

– Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить, – извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла, – да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

– Извините; как геолог, вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

– Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

– И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? – промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову. – Как же вы это без него обходитесь?

– А на что он нужен, позвольте спросить?

– Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

– Во-первых, на это существует жизненный опыт; а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая не спеша подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова – и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

– Деревья в лесу, – повторила она. – Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

– Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

– И вы полагаете, – промолвила Анна Сергеевна, – что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

– По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

– Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

– Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию:

– А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

– Я согласен с Евгением, – отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

– Вы меня удивляете, господа, – промолвила Одинцова, – но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х……я, худенькая и маленькая

женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги: старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтою шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

– Как вы почивали, тетушка? – спросила Одинцова, возвысив голос.

– Опять эта собака здесь, – проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: – Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти…

– Я думаю, чай готов? – промолвила Одинцова. – Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

– А что пишет *кнесь*[235] Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «*Для-ради* важности держат, потому что княжеское отродье», – подумал Базаров… После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его – не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

– Берегитесь, – заметила Анна Сергеевна, – мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя, – прибавила она, – сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

– Что же вам сыграть?

– Что хотите, – равнодушно ответил Аркадий.

– Вы какую музыку больше любите? – повторила Катя, не переменяя положения.

– Классическую, – тем же голосом ответил Аркадий.

– Моцарта любите?

– Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби… Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадии объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее – сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу[236] с благосклонною улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился.[237] Анна Сергеевна

играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

– Пойдемте гулять завтра поутру, – сказала она ему, – я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

– На что вам латинские названия? – спросил Базаров.

– Во всем нужен порядок, – отвечала она.

– Что за чудесная женщина Анна Сергеевна, – воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

– Да, – отвечал Базаров, – баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

– В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

– В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо – не она, а ее сестра.

– Как? эта смугленькая?

– Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та – тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился – отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не уступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть… Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно-стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя

из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле… Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей и нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» – думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом… Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» – повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку – и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидал ее – сердце в нем мгновенно сжалось… Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели, и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось

Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» – Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй, – подумал Аркадий… – Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», – уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы, и, может быть, в этом случае я – барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», – и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал; но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает», – думал он,

и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой – с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя *обожала* природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего… он как будто избегал, как будто стыдился его…

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом[238] Тоггенбурга[239] со всеми миннезингерами и трубадурами.[240] «Нравится тебе женщина, –

говаривал он, – старайся добиться толку; а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему – все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или запирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуй, что эти умные глаза с нежностию – да, с нежностию остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть… Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его; но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу… Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с

выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке[241] из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

– А, старина, здравствуй! – воскликнул Базаров.

– Здравствуйте, батюшка Евгений Васильич, – начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

– Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

– Помилуйте, батюшка, как можно! – залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде). – В город по господским делам ехали да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть – посмотреть на вашу милость… а то как же можно беспокоить!

– Ну, не ври, – перебил его Базаров. – В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

– Отец здоров?

– Слава богу-с.

– И мать?

– И Арина Власьевна, слава тебе господи.

– Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

– Ах, Евгений Васильич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло, на родителей на ваших глядючи.

– Ну хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

– Слушаю-с, – со вздохом отвечал Тимофеич. Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

– Как же это вы ехать собираетесь, – начала она, – а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

– Какое-с?

– Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

– Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть «*Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie*»;[242] книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

– А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить… я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать… помните?

– Что делать-с! – повторил Базаров.

– Зачем ехать? – проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

– А зачем оставаться? – отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

– Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

– Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

– Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. – Базаров продолжал сидеть неподвижно. – Евгений Васильич, что же вы молчите?

– Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

– Это почему?

– Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

– Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильич.

– Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

– Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

– Аркадий останется, – заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

– Мне будет скучно, – повторила она.

– В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

– Отчего вы так полагаете?

– Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда,

когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске… никаким тяжелым чувствам.

– И вы находите, что я непогрешительна… то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

– Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

– Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно… мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось… Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

– Спустите штору и сядьте, – промолвила Одинцова, – мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

– Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

– Вы очень скромны… Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» – подумал Базаров.

– Все это нисколько не занимательно, – произнес он вслух, – особенно для вас; мы люди темные…

– А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

– Да, – промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

– Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь… но вы мне прежде расскажете свою.

– Я вас знаю мало, – повторил Базаров. – Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь – и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

– Как? Как вы это сказали? – с живостью подхватила Одинцова. – С моей… красотой?

Базаров нахмурился.

– Это все равно, – пробормотал он, – я хотел сказать, что не

понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

– Вы этого не понимаете… Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

– Да… я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

– Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

– Любопытством – пожалуй; но не иначе.

– В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

– Мы сошлись… – глухо промолвил Базаров.

– Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединённой комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу… Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной…

– Куда вы? – медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стул.

– Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, – продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. – А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

– Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

– Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого… что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

– Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

– Чего я хочу, – повторила Одинцова и вздохнула. – Я очень

устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, – прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. – Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует… Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной – длинная, длинная дорога, а цели нет… Мне и не хочется идти.

– Вы так разочарованы? – спросил Базаров.

– Нет, – промолвила с расстановкой Одинцова, – но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь…

– Вам хочется полюбить, – перебил Базаров, – а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

– Разве я не могу полюбить? – промолвила она.

– Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

– Случается что?

– Полюбить.

– А вы почем это знаете?

– Понаслышке, – сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь, – подумал он, – ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне…» Сердце у него действительно так и рвалось.

– Притом, вы, может быть, слишком требовательны, – промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

– Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

– Что ж? – заметил Базаров, – это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор… не нашли, чего желали.

– А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

– Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

– Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

– Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

– Вы говорите так, – начала она, – как будто все это испытали.

– К слову пришлось, Анна Сергеевна: это все, вы знаете, не по моей части.

– Но вы бы сумели отдаться?

– Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

– Что это Катя так поздно играет, – заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

– Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

– Погодите, куда же вы спешите… мне нужно сказать вам одно слово.

– Какое?

– Погодите, – шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова… Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

– Ты еще не ложился? – проговорил он как бы с досадой.

– Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, – промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

– Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

– Я не играл… – начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его главам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее… Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний нумер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

– Евгений Васильевич, – проговорила Анна Сергеевна, – пойдемте ко мне… Я хочу у вас спросить… Вы назвали вчера одно руководство…

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» – и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

– Так как же называется эта книга? – начала она после небольшого молчания.

– Pelouse et Frémy, «Notions générales», – отвечал Базаров. – Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, «Traité élémentaire de physique expérimentalé».[243] В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник…

Одинцова протянула руку.

– Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно… Вам не будет скучно?

– Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

– Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастие». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее

намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем действительным счастием, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Иль вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

– Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет», – возразил Базаров, – притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

– Может быть, они кажутся вам смешными?

– Нет, но они мне не приходят в голову.

– В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем *вы* думаете?

– Как? я вас не понимаю.

– Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, – вам это самим известно, – что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды – вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? я хочу сказать – какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? словом, кто вы, что вы?

– Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я…

– Да, кто вы?

– Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

– Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

– Да чем же Аркадий…

– Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы – с вашим самолюбием – уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

– Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините… я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние…

– Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала…

– Да и кроме того, – перебил Базаров, – что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать – прекрасно, а не выйдет, – по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

– Вы называете дружескую беседу болтовней… Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

– Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

– Нет, я ничего не знаю… но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит…

– Происходит! – повторил Базаров, – точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

– А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

– *Вы* можете? – спросил Базаров.

– Могу, – отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

– Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

– Как хотите, – продолжала она, – а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

– А вы заметили во мне сдержанность… как вы еще выразились… напряженность?

– Да.

Базаров встал и подошел к окну.

– И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

– Да, – повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

– И вы не рассердитесь?

– Нет.

– Нет? – Базаров стоял к ней спиною. – Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно… Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей… Одинцовой стало и страшно и жалко его.

– Евгений Васильич, – проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней…

– Вы меня не поняли, – прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула… Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать – или могу остаться до завтра?» – «Зачем уезжать? Я вас не понимала – вы меня не поняли», – ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь… «Я виновата, – промолвила она вслух, – но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней…

«Или?» – произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями… Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась…

«Нет, – решила она наконец, – бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее – и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразие.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два – прямо, не украдкой – посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет… нет… нет…» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

– Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

– Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич, – отвечала Одинцова, – но я огорчена.

– Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет…

– Евгений Васильич, зачем вы…

– Зачем я уезжаю?

– Нет, я не то хотела сказать.

– Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна… а рано или поздно это должно было случиться, следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда, ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», – мелькнуло у ней в голове.

– Прощайте-с, – проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним…

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственною ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой… На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее – и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

– Я могу тебе теперь повторить, – говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, – то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

– Я завтра к батьке уезжаю, – проговорил Базаров. Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

– А! – промолвил он. – И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

– Много будешь знать, состареешься.

– А как же Анна Сергеевна? – продолжал Аркадий.

– Что такое Анна Сергеевна?

– Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

– Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

– Евгений! – воскликнул вдруг Аркадий.

– Ну?

– Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

– Только я домой поеду, – продолжал Аркадий. – Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

– Я у вас свои вещи оставил, – отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? – подумал Аркадий. – В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» – продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло, – рассуждал он сам с собою, – зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» – шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза… Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

– На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

– Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге-ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобою боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?»

– Да, – повторил угрюмо Базаров, – ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день

Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке леса, – и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

– У меня очень покойная коляска, – прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию, – я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

– Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

– Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

– По откупам? – спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

– Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная, – пробормотал он, – и всем место будет.

– Не огорчайте мсьё Ситникова отказом, – промолвила Анна Сергеевна…

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову. Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

– Мы еще увидимся, не правда ли?

– Как прикажете, – ответил Базаров.

– В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

– Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

– Садись, – произнес сквозь зубы Базаров. Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова – и, учтиво поклонившись

своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида… Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» – потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

– Что, брат, – проговорил он наконец, – дай-ка сигарку… Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

– Желтый, – отвечал Аркадий.

– Ну да… вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

– Ты действительно изменился в это последнее время, – заметил Аркадий.

– Ничего! поправимся. Одно скучно – мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз в день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить, – прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

– До твоего имения двадцать пять верст? – спросил Аркадий.

– Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца. Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает – версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

– Да, да, – заговорил Базаров, – урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

– Ты на что намекаешь? – спросил Аркадий.

– Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль – тот непременно ее победит.

– Я тебя не совсем понимаю, – промолвил Аркадий, – кажется, тебе не на что было пожаловаться.

– А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу

следующее: по-моему – лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все… – Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: – вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество – все равно что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, – прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, ты, – умница, есть у тебя жена?

Мужик показал приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

– Жена-то? Есть. Как не быть жене?

– Ты ее бьешь?

– Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

– И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

– Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить… – Он, видимо, обиделся.

– Слышишь, Аркадий Николаич! А нас с вами прибили… вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, – говорил один другому, – а хуже малого поросенка». – «А твоя жена – колдунья», – возражал другой.

– По непринужденности обращения, – заметил Аркадию Базаров, – и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он – узнаю его фигуру. Эге-ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

– Наконец пожаловал, – проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. – Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына… «Енюша, Енюша», – раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

– Ну, полно, полно, Ариша! перестань, – заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. – Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

– Ах, Василий Иваныч, – пролепетала старушка, – в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшень-ку… – И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

– Ну да, конечно, это все в натуре вещей, – промолвил Василий Иваныч, – только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, – прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой, – вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери…

А у самого губы и брови дергало и подбородок трясся… но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

– Пойдемте, матушка, в самом деле, – промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

– Душевно рад знакомству, – проговорил Василий Иванович, – только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

– Батюшка, – сквозь слезы проговорила старушка, – имени и отчества не имею чести знать…

– Аркадий Николаич, – с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

– Извините меня, глупую. – Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. – Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го… о… о…лубчика.

– А вот и дождались, сударыня, – подхватил Василий Иванович. – Танюшка, – обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери, – принеси барыне стакан воды – на подносе, слышишь?.. а вас, господа, – прибавил он с какою-то старомодною игривостью, – позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

– Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка, – простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. – Да какой же ты красавчик стал!

– Ну, красавчик не красавчик, – заметил Василий Иванович, – а мужчина, как говорится: *оммфе*.[244] А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

– Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

– Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между

двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда,[245] вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

– Я вас предупредил, любезный мой посетитель, – начал Василий Иваныч, – что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках…

– Да перестань, что ты извиняешься? – перебил Базаров. – Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы[246] и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос.

– Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комнатка: им там очень хорошо будет.

– Так у тебя и флигелек завелся?

– Как же-с; где баня-с, – вмешался Тимофеич.

– То есть рядом с баней, – поспешно присовокупил Василий Иванович. – Теперь же лето… Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique.[247]

– Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, – прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. – Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

– И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, – заметил Аркадий.

– Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

– Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли, – промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

– И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

– Сколько у твоего отца душ? – спросил вдруг Аркадий.

– Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

– И все двадцать две, – с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василии Иванович.

– Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, – воскликнул он с торжественностию, – Аркадий… Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга, – прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. – Зовут его

Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

– Я курю больше сигары, – ответил Аркадий.

– И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс[248] сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

– Да полно тебе Лазаря петь,[249] – перебил опять Базаров. – Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.

– Лазаря петь! – повторил Василий Иванович. – Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

– Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу.[250] Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

– Да; вот я вижу у тебя – «*Друг здравия*»[251] на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, – заметил Базаров.

– Мне его по знакомству старый товарищ высылает, – поспешно проговорил Василий Иванович, – но мы, например, и о френологии[252] имеем понятие, – прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники, – нам и Шенлейн[253] не остался безызвестен, и Радемахер.

– А в Радемахера еще верят в *** губернии? – спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

– В губернии… Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист[254] Гоффман,[255] какой-нибудь Броун[256] с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то.

Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

– Скажу тебе в утешение, – промолвил Базаров, – что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

– Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

– Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

– Ну, может быть, может быть – спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*;[257] теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил, – обратился он опять к Аркадию, – да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна[258] и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет.[259] Ну да ведь мое дело – сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

– Сознайся, дубина была порядочная, – лениво промолвил Базаров.

– Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй… Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу…

– Ну, брось его, – перебил Базаров. – Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился.

– А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus…[260] Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом – нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии… Ха-ха, из филантропии! а? каково! ха-ха! ха-ха!

– Федька! Набей мне трубку! – сурово проговорил Базаров.

– А то здесь другой доктор приезжает к больному, – продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович, – а больной уже ad patres;[261] человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот

этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» – «Икали-с». – «И много икал?» – «Много». – «А, ну – это хорошо», – да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

– Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленою веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса.[262] Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну как скажет на два дня», – думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полбутылкой шампанского. «Вот, – воскликнул он, – хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных

посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

– На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.[263]

– Что за деревья? – спросил, вслушавшись, Базаров.

– А как же… акации.

Базаров начал зевать.

– Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,[264] – заметил Василий Иванович.

– То есть пора спать! – подхватил Базаров. – Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в наши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во

всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи;[265] а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать – и строго постилась; спала десять часов в сутки – и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса, или Хижины в лесу»,[266] писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, – а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу – и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном… Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает – следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно – и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

– Здравия желаем! Как почивать изволили?

– Прекрасно, – отвечал Аркадий.

– А я здесь, как видите, как некий Цинциннат,[267] грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, – да и слава богу! – что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо[268] прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку – это по-ихнему, а по-нашему – дизентерию, я… как бы выразиться лучше… я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию… только она не согласилась. Все это я делаю gratis[269] – *анаматёр*.[270] Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus[271] – не из столбовых, не то, что моя благоверная… А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

– Добро пожаловать еще раз! – промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. – Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

– Помилуйте, – возопил Аркадий, – какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

– Позвольте, позвольте, – возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. – Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете – узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара – давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям.

Позвольте полюбопытствовать, – вы давно с моим Евгением знакомы?

– С нынешней зимы.

– Так-с. И позвольте вас еще спросить, – но не присесть ли нам? – позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

– Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, – с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

– Итак, вы полагаете, – начал он…

– Я уверен, – подхватил Аркадий, – что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

– Как… как это было? – едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

– Вы хотите знать, как мы встретились?

– Да… и вообще…

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы – и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

– Вы меня совершенно осчастливили, – промолвил он, не переставая улыбаться, – я должен вам сказать, что я… боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно – мать! Но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

– Он бескорыстный, честный человек, – заметил Аркадий.

– Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания…» – Голос старика перервался.

Аркадий стиснул ему руку.

– Как вы думаете, – спросил Василий Иванович после некоторого молчания, – ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

– Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

– На каком же, Аркадий Николаич?

– Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

– Он будет знаменит! – повторил старик и погрузился в думу.

– Арина Власьевна приказали просить чай кушать, – проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

– А холодные сливки к малине будут?

– Будут-с.

– Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

– Я здесь, – раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

– Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал amice, [272] и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

– О чем?

– Здесь есть мужичок, он страдает иктером…

– То есть желтухой?

– Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим
На ра… на ра… на радости пожить!

– Замечательная живучесть! – проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя

охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

– Та осина, – заговорил Базаров, – напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

– Сколько ты времени провел здесь всего? – спросил Аркадий.

– Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городам шлялись.

– А дом этот давно стоит?

– Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

– Кто он был, твой дед?

– Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

– То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

– Лампадным маслом отзывает да донником, – произнес, зевая, Базаров. – А что мух в этих милых домиках… Фа!

– Скажи, – начал Аркадий после небольшого молчания, – тебя в детстве не притесняли?

– Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

– Ты их любишь, Евгений?

– Люблю, Аркадий!

– Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

– Знаешь ли ты, о чем я думаю? – промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

– Не знаю. О чем?

– Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами – кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я…

– А ты?

– А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где

меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!

– Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям…

– Ты прав, – подхватил Базаров. – Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит… а я… я чувствую только скуку да злость.

– Злость? почему же злость?

– Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

– Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но…

– Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. – Он повернулся на бок. – Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

– Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

– Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

– Да, – начал Базаров, – странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

– Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, – произнес задумчиво Аркадий.

– Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно… а вот дрязги, дрязги… это беда.

– Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

– Гм… это ты сказал *противоположное общее место.*

– Что? Что ты называешь этим именем?

– А вот что; сказать, например, что просвещение полезно, это

общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.

– Да правда-то где, на какой стороне?

– Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

– Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

– В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

– В таком случае не худо вздремнуть, – заметил Аркадий.

– Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

– А тебе не все равно, что о тебе думают?

– Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

– Странно! я никого не ненавижу, – промолвил, подумавши, Аркадий.

– А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься…

– А ты, – перебил Аркадий, – на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

– Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

– Полно, Евгений… послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

– Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения. Все от них зависит.

– Как так?

– Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди

никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

– Что ж? и честность – ощущение?

– Еще бы!

– Евгений! – начал печальным голосом Аркадий.

– А? что? не по вкусу? – перебил его Базаров. – Нет, брат! Решился все косить – валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», – сказал Пушкин.

– Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий.

– Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

– Пушкин никогда не был военным!

– Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой![273] за честь России!

– Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец.

– Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

– Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий.

– С величайшим удовольствием, – ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

– Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым веселым и живым.

– О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори красиво.

– Я говорю, как умею… Да и наконец, это деспотизм. Мне не шла мысль в голову; отчего ее не высказать?

– Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво – неприлично.

– Что же прилично? Ругаться?

– Э-э! да ты, я вижу, точно, намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

– Как ты назвал Павла Петровича?

– Я его назвал, как следует, – идиотом.

– Это, однако, нестерпимо! – воскликнул Аркадий.

– Ага! родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: *мой* брат, *мой* – и не гений… возможно ли это?

– Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, – возразил запальчиво Аркадий. – Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого *ощущения*, то ты и не можешь судить о нем.

– Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, – преклоняюсь и умолкаю.

– Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

– Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько – до положения риз, до истребления.

– Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем…

– Что подеремся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло…

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы… Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться… Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость…

– А! вот вы куда забрались! – раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове. – Я вас искал, искал… Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»… Знаете ли – в этом есть какое-то особенное значение!

– Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, – проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: – Жаль, что помешал.

– Ну, полно, – шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. – Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

– Смотрю я на вас, мои юные собеседники, – говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного

изделия, с фигурой турка вместо набалдашника, – смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости, самой цветущей, способностей, талантов! Просто… Кастор и Поллукс![274]

– Вон куда – в мифологию метнул! – промолвил Базаров. – Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

– Диоскуры, Диоскуры! – повторил Василий Иванович.

– Однако полно, отец, не нежничай.

– В кои-то веки разик можно, – пробормотал старик. – Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений… Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь… Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей…

– Поп?

– Ну да, священник; он у нас… кушать будет… Я этого не ожидал и даже не советовал… но как-то так вышло… он меня не понял… Ну, и Арина Власьевна… Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

– Ведь он моей порции за обедом не съест? – спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

– Помилуй, что ты!

– А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

– Я был наперед уверен, – промолвил он, – что ты выше всяких предрассудков. На что вот я – старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна… Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь… Он и в карточки не прочь поиграть и даже… но это между нами… трубочку курит.

– Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

– Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

– А что? Разве стариной тряхнешь? – промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

– Как тебе не стыдно, Евгений… Что было, то прошло. Ну да, я

готов вот перед *ними* признаться, имел я эту страсть в молодости – точно; да и поплатился же я за нее! Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

– Нисколько, – ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

– Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои, – начал он, – мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава богу. – Он вздохнул. – Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

– За который ты получил Владимира?[275] – подхватил Базаров. – Знаем, знаем… Кстати, отчего ты его не носишь?

– Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков, – пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы. – А ведь он заснул, – шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. – Евгений! вставай! – прибавил он громко: – Пойдем обедать…

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал, и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро… Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники», – твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою

говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

– Что, – спросила она, погодя немного, – не помогло?

– Еще хуже пошло, – отвечал он с небрежною усмешкой.

– Очинно они уже рискуют, – как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

– Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, – подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

– Оно же и довело его до острова Святыя Елены, – промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

– Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? – спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

– Нет! – говорил он на следующий день Аркадию, – уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам – никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней – и сказать ей нечего.

– Очень она огорчится, – промолвил Аркадий, – да и он тоже.

– Я к ним еще вернусь.

– Когда?

– Да вот как в Петербург поеду.

– Мне твою мать особенно жалко.

– Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

– Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

– Верно, обо мне все распространялась?

– Не о тебе одном была речь.

– Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

– Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

– Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца: он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика – и очень хорошо сделал; да, да, не гляди на меня с таким ужасом – очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить… Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» – но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

– Да… чуть было не забыл тебе сказать… Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

– Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

– Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

– Ты уезжаешь?

– Да… мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

– Хорошо… – залепетал старик, – на подставу… хорошо… только… только… Как же это?

– Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

– Да! На короткое время… Хорошо. – Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. – Что ж? это… все будет. Я было думал, что ты у нас… подольше. Три дня… Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

– Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

– Необходимо… Что ж? Прежде всего надо долг исполнять… Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные

припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное – свобода; это мое правило… не надо стеснять… не…

Он вдруг умолк и направился к двери.

– Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

– Это ты, Василий Иваныч? – спросила она.

– Я, матушка!

– Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

– Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных, – продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, – и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, – Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас, – залепетал он, – бросил; скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один!» – повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын – отрезанный ломоть. Он, что

сокол: захотел – прилетел, захотел – улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

– Евгений, – спросил он, – налево?

Базаров отвернулся.

– Это что за глупость? – пробормотал он.

– Я знаю, что глупость, – ответил Аркадий. – Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

– Как знаешь, – проговорил он наконец.

– Пошел налево! – крикнул Аркадий.

Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость,* приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и

послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

– На меня теперь нашла хандра, – сказала она, – но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры,[276] ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем – хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с

наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболевали; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову… правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не взносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет[277] грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов…

– Сил моих нет! – не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. – Самому драться невозможно, посылать за становым – не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

– Du calme, du calme,[278] – замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после

приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностию если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет, не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким! – под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю, – беспрестанно шептал он, – сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастие, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства – одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. «Главное – не надо думать», – твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?» – но зато *чкнувши,* не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома… «Что я делаю? – мелькнуло вдруг в голове Аркадия. – Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженых елок… Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика… Он узнал

Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! – промолвила она и понемножку вся покраснела, – пойдемте к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» – проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

– Я вам, Анна Сергеевна, – начал он, – привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете…

– Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с *нигилистом* по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян,[279] но сам вдруг остановился, промолвив с холодною вежливостью:

– Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

– Еще бы! – воскликнул Базаров. – Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

– Что, это остроумно? – проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок.

Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» – отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?» Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо… А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал… Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не захаживал, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его – купать ли ей Митю или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем *сьюте, с* неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст», – жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался *жестоким тираном* ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на

колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

– Ты бы чаще купалась, – говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

– Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь – умрешь, и назад пойдешь – умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

– Это точно, что тени нету, – отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

– А! Евгений Васильич! – проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

– Что вы это тут делаете? – промолвил Базаров, садясь возле нее. – Букет вяжете?

– Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

– Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

– Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

– Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать. – Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов. – Сто лет проживете, – промолвил он, выпуская ее руку.

– Ах, сохрани бог! – воскликнула она.

– А что? Разве вам не хочется долго пожить?

– Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет – так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

– Так лучше быть молодою?

– А то как же?

– Да чем же оно лучше? Скажите мне!

– Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать – и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно… Чего лучше?

– А вот мне все равно: молод ли я или стар.

– Как это вы говорите – все равно? это невозможно, что вы говорите.

– Да вы сами посудите, Федосья Николавна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем…

– Это от вас всегда зависит.

– То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

– Это что у вас за книга? – спросила она, погодя немного.

– Это-то? Это ученая книга, мудреная.

– А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, все знаете.

– Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

– Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? – спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. – Какая толстая!

– Русская.

– Все равно я ничего не пойму.

– Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте»,[280] засмеялась и бросила книгу… она скользнула со скамейки на землю.

– Я люблю тоже, когда вы смеетесь, – промолвил Базаров.

– Полноте!

– Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

– Какой вы! – промолвила она, перебирая пальцами по цветам. – И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

– Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

– Ну, вот еще что выдумали! – шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

– Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

– Лекарская? – повторила Фенечка и повернулась к нему. – А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

– А по-настоящему надо лекарям платить, – заметил с усмешкой Базаров. – Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не

знала – шутит ли он или нет.

– Если вам угодно, мы с удовольствием… Надо будет у Николая Петровича спросить…

– Да вы думаете, я денег хочу? – перебил ее Базаров. – Нет, мне от вас не деньги нужны.

– Что же? – проговорила Фенечка.

– Что? – повторил Базаров. – Угадайте.

– Что я за отгадчица!

– Так я вам скажу; мне нужно… одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенною. Базаров пристально смотрел на нее.

– Извольте, извольте, – промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. – Какую вам, красную или белую?

– Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

– Вот возьмите, – сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

– Что такое? – спросил Базаров. – Николай Петрович?

– Нет… Они в поле уехали… да я и не боюсь их… а вот Павел Петрович… Мне показалось…

– Что?

– Мне показалось, что *они* тут ходят. Нет… никого нет. Возьмите. – Фенечка отдала Базарову розу.

– С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

– Они меня все пугают. Говорить – не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его и так вертите, и так…

Фенечка показала руками, как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

– А если б он меня побеждать стал, – спросил он, – вы бы за меня заступились?

– Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

– Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

– Какая такая рука?

– А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что

вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку… Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

– Постойте, я хочу понюхать с вами, – промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобною унылостью: «Вы здесь», – удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки.

– Грешно вам, Евгений Васильич, – шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из саду и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

– Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи, – спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

– Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, – начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости), – но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени… не более.

– Все мое время к вашим услугам, – ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

– С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

– Вопрос? О чем это?

– А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

– Вот мое мнение, – сказал он. – С теоретической точки зрения дуэль – нелепость; ну, а с практической точки зрения – это дело другое.

– То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

– Вы вполне отгадали мою мысль.

– Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности…

– Из нерешимости, хотите вы сказать.

– Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я… не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

– Со мной?

– Непременно с вами.

– Да за что? помилуйте.

– Я бы мог объяснить вам причину, – начал Павел Петрович. – Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно…

Глаза Павла Петровича засверкали… Они вспыхнули и у Базарова.

– Очень хорошо-с, – проговорил он. – Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

– Чувствительно вам обязан, – ответил Павел Петрович, – и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

– То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? – хладнокровно заметил Базаров. – Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом… Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

– Прекрасно, – промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. – Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

– Нет, лучше без формальностей.

– Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего больше?

– Чего же больше? – повторил иронически Базаров.

– Что же касается до самых условий поединка, но так как у нас секундантов не будет, – ибо где ж их взять?

– Именно, где их взять?

– То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах…

– В десяти шагах? это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

– Можно и восемь, – заметил Павел Петрович.

– Можно; отчего же!

– Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

– Вот с этим я не совсем согласен, – промолвил Базаров. – Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

– Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

– Соглашаюсь. Но есть средство избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

– Кто именно, позвольте узнать?

– Да Петр.

– Какой Петр?

– Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.[281]

– Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

– Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в метке не утаить, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

– Вы продолжаете шутить, – произнес, вставая со стула, Павел Петрович. – Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии… Итак, все устроено… Кстати, пистолетов у вас нет?

– Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

– В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

– Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость…

– Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

– До приятного свидания, милостивый государь мой, – промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу-ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда… (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня, – думал он, – но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! – решил он наконец, – скверно, с

какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий… и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, – подумал он, – узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны… Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем, – прибавил он, – подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть… Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге… Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот

этот тоже рано встал, – подумал Базаров, – да, по крайней мере, за делом, а мы?»

– Кажись, они идут-с, – шепнул вдруг Петр. Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

– Извините, я, кажется, заставил вас ждать, – промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. – Я не хотел будить моего камердинера.

– Ничего-с, – ответил Базаров, – мы сами только что пришли.

– А! тем лучше! – Павел Петрович оглянулся кругом. – Никого не видать, никто не помешает… Мы можем приступить?

– Приступим.

– Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

– Не требую.

– Угодно вам заряжать? – спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

– Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, – прибавил Базаров с усмешкой. – Раз, два, три…

– Евгений Васильич, – с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке), – воля ваша, я отойду.

– Четыре… пять… Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть… семь… восемь… – Базаров остановился. – Довольно? – промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу, – или еще два шага накинуть?

– Как угодно, – проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

– Ну, накинем еще два шага. – Базаров провел носком сапога черту по земле. – Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

– Я полагаю, на десять, – ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. – Соблаговолите выбрать.

– Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

– Вам все желательно шутить, – ответил Павел Петрович. – Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. A bon entendeur,

salut![282]

– О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить utile dulci?[283] Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

– Я буду драться серьезно, – повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

– Вы готовы? – спросил Павел Петрович.

– Совершенно.

– Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета… «Он мне прямо в нос целит, – подумал Базаров, – и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов…» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего», – успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

– Вы ранены? – промолвил он.

– Вы имели право подозвать меня к барьеру, – проговорил Павел Петрович, – а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

– Ну, извините, это до другого раза, – отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. – Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

– Все это вздор… Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, – промолвил с расстановкой Павел Петрович, – и… надо… опять… – Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

– Вот новость! Обморок! С чего бы! – невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. – Посмотрим, что за штука? – Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны… – Кость цела, – бормотал он сквозь зубы, – пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, vastus externus, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то

какая тонкая.

– Убиты-с? – прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

– Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» – шепнул Петр и начал креститься.

– Вы правы… Экая глупая физиономия! – проговорил с насильственною улыбкой раненый джентльмен.

– Да ступай же за водой, черт! – крикнул Базаров.

– Не нужно… это был минутный vertige…[284] Помогите мне сесть… вот так… Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно… сегодня, сегодня – заметьте.

– О прошлом вспоминать незачем, – возразил Базаров, – а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша – не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

– Смотри, брата не испугай, – сказал ему Павел Петрович, – не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет, по крайней мере, здесь торчать, – успокаивал он себя, – и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

– Не туго ли я завязал вам ногу? – спросил наконец Базаров.

– Нет, ничего, прекрасно, – отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: – Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

– Очень хорошо, – промолвил Базаров. – Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

– И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? – продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

– Кто ж его знает! – ответил Базаров, – всего вероятнее, что ничего не думает. – Русский мужик – это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф.[285] Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

– А! вот вы как! – начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: – Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидал бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

– Что это значит? – проговорил он взволнованным голосом. – Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

– Ничего, – отвечал Павел Петрович, – напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

– Да из-за чего все вышло, ради бога?

– Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле.[286] Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

– Да у тебя кровь, помилуй!

– А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади…

– Я должен вас просить заняться братом, – сказал ему Николай Петрович, – пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» – но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous», [287] – и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

– А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

– С какою Нелли, Паша?

– Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р… Особенно в верхней части лица. C'est de la même famille.[288]

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», – подумал он.

– Ах, как я люблю это пустое существо! – простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. – Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться… – лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

– Вы пришли со мной проститься? – проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

– Точно так-с.

– Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно,

виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который… который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат – человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый… Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки…

– Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история, – заметил небрежно Базаров.

– Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич… Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое… такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий…

– Я, должно быть, с ним увижусь, – возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, – в противном случае, прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

– И я прошу… – ответил с поклоном Николай Петрович.

Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! – сказал он про себя… – Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?», а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один

Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку; но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно… так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды – дело было утром – Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

– Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? – начал он. – Разве у вас дело есть?

– Нет-с… да-с… Нужно там чай разливать.

– Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

– Послушайте, – промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, – я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

– Я-с?..

– Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

– Ведь у вас совесть чиста? – спросил он ее.

– Отчего же ей не быть чистою? – шепнула она.

– Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

– Люблю.

– Всей душой, всем сердцем?

– Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

– Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее…). Вы знаете – большой грех лгать!

– Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить – да после этого мне и жить не надо!

– И ни на кого вы его не променяете?

– На кого ж могу я его променять?

– Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

– Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

– Фенечка, – промолвил печальным голосом Павел Петрович, – ведь я видел…

– Что вы видели-с?

– Да там… в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

– А чем же я тут виновата? – произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

– Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

– Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! – проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло, – а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем…

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку… Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

– Фенечка! – сказал он каким-то чудным шепотом, – любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что сталось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая…

«Господи! – подумала она, – уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами… Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась – и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на

его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

– Что с тобой? – промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. – Ты не хуже себя чувствуешь? – спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

– Нет… так… ничего… Напротив, мне гораздо лучше.

– Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? – прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь. – Я было принес показать тебе моего богатыря; он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

– Брат! – торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

– Брат, – повторил Павел Петрович, – дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

– Какую просьбу? Говори.

– Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе… Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

– Что ты хочешь сказать, Павел?

– Женись на Фенечке… Она тебя любит, она – мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

– Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

– Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, – возразил с унылою улыбкою Павел Петрович. – Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

– Ты мне окончательно открыл глаза! – воскликнул он. – Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный…

– Тише, тише, – перебил его Павел Петрович. – Не разбереди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею… belle-soeur.[289]

– Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

– Аркадий? Он восторжествует, помилуй? Брак не в его принсипах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты au dix-neuvième siècle?[290]

– Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

– Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? – спросил Павел Петрович.

– К чему спешить? – возразил Николай Петрович. – Разве у вас был разговор?

– Разговор, у нас? Quelle idée![291]

– Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить…

– Но ведь ты решился?

– Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно… Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? – подумал Павел Петрович, оставшись один. – Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца… Да он и был мертвец.

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием; на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полежкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение: каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее. Катя оживленнее, смелей.

– Не находите ли вы, – начал Аркадий, – что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я *красиво* выражаюсь».

– Я не люблю Гейне, – заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках, – ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

– А мне нравится, когда он смеется, – заметил Аркадий.

– Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления… («Старые следы! – подумал Аркадий. – Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

– Кто меня переделает? Вы?

– Кто? Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

– Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

– Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы.

– Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

– Я знаю, – продолжал Аркадий, – он вам никогда не нравился.

– Я не могу судить о нем.

– Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю… Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

– Ну, так я вам скажу, что он… не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая… да и вы ему чужой.

– Это почему?

– Как вам сказать… Он хищный, а мы с вами ручные.

– И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

– Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это, в сущности, обидно.

– Разве вы хотели бы быть хищным?

– Хищным нет, но сильным, энергическим.

– Этого нельзя хотеть… Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

– Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

– Да. Но над ней никто долго взять верх не может, – прибавила Катя вполголоса.

– Почему вы это думаете?

– Она очень горда… я не то хотела сказать… она очень дорожит своею независимостью.

– Кто же ею не дорожит? – спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» – «На что она?» – мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом:

– Сознайтесь, что вы немножко *ее* боитесь.

– Кого?

– *Ее,* – значительно повторил Аркадий.

– А вы? – в свою очередь спросила Катя.

– И я; заметьте, я сказал: *и* я.

Катя погрозила ему пальцем.

– Это меня удивляет, – начала она, – никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь; гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

– Вот как!

– А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

– Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

– И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

– Это почему?

– Не скажу.

– О! я знаю: вы очень упрямы.

– Упряма.

– И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

– Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

– Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь…

– Я много жила одна; поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

– Все это прекрасно, – продолжал он, – но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

– Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» – пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

– Как вы это хорошо сказали! – промолвил он.

– А что?

– Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

– Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

– Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

– Например?

– Например, ведь вы, – извините мой вопрос, – вы бы не пошли замуж за богатого человека?

– Если б я его очень любила… Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

– А! вот видите! – воскликнул Аркадий и, погодя немного,

прибавил: – А отчего бы вы за него не пошли?

– Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.

– Вы, может быть, хотите властвовать или…

– О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование… Нет, довольно и так.

– Довольно и так, – повторил за Катей Аркадий. – Да, да, – продолжал он, – вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято…

– Да как же иначе? – спросила Катя.

– Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней…

– Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, – поспешно перебила Катя, – это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и… вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

– Что значит это: «вам в особенности», и из чего вы заключаете, что я шучу?

– Конечно, вы шутите.

– Вы думаете? А что, если я убежден в том, что говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

– Я вас не понимаю.

– В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

– Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

– Катерина Сергеевна! – заговорил вдруг Аркадий, – вам это, вероятно, все равно; но знайте, что я вас не только на вашу сестру, – ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза

выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

– Ты одна? – раздался возле нее голос Анны Сергеевны. – Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

– Я одна.

– Я это вижу, – отвечала та со смехом, – он, стало быть, ушел к себе?

– Да.

– Вы вместе читали?

– Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

– Вы не поссорились, надеюсь?

– Нет, – сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

– Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши… только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже – только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки, – думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы, – прелестные ножки, говорите вы… Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

– Евгений! – пробормотал почти с испугом Аркадий, – давно ли он приехал?

– Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» – подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя

признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

– Вот неожиданно! Какими судьбами! – твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. – Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

– Все у вас благополучно, но не все здоровы, – проговорил Базаров. – А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? И, получив ответ, что она – самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

– Да, брат, – промолвил он, – вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам», – так заключил Базаров, – и на дороге завернул сюда… чтобы все это передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь – глупостью. Нет, я завернул сюда – черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях… Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел.

– Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, – возразил с волнением Аркадий, – я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со *мной*.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

– Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький… должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

– Какие мои дела с Анной Сергеевной?

– Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

– Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься.

– Гм! Новое слово, – заметил вполголоса Базаров. – Но тебе не для

чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

– Евгений…

– Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

– Помилуй, это невозможно!

– А почему?

– Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

– Ну, в этом ты ошибаешься.

– А я, напротив, уверен, что я прав, – возразил Аркадий. – И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

– Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

– Анна Сергеевна, – поторопился сказать Базаров, – прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку, и отвечала на его пожатие.

– Кто старое помянет, тому глаз вон, – сказала она, – тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

– Кто их помнит? Да притом любовь… ведь это чувство напускное.

– В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал.

– А я, – промолвила Анна Сергеевна, – сперва хандрила, бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

– В какую это роль, позвольте узнать?

– Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен… А главное, он молод, молод… не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

– Он все так же робеет в вашем присутствии? – спросил Базаров.

– А разве… – начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: – Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» – подумал он.

– Вы говорите, он избегал вас, – произнес он с холодною усмешкой, – но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

– Как? и он? – сорвалось у Анны Сергеевны.

– И он, – повторил Базаров с смиренным поклоном. – Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

– Вы ошибаетесь, Евгений Васильич.

– Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. «А ты вперед не хитри», – прибавил он про себя.

– Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

– Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

– Отчего же? – возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему наконец перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» – спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошною зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее тотчас после чаю позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

– Катерина Сергеевна, – заговорил он с какою-то застенчивою развязностью, – с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня… вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, – прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. – Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, – вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменой.

– Я?.. Мне?.. – проговорила Катя.

– Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал, – продолжал Аркадий, – недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне… гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам… Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству… Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете…

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

– Я полагаю, – заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку, – я полагаю, что обязанности всякого честного человека быть вполне откровенным с теми… с теми людьми, которые… словом, с близкими ему людьми, а потому я… я намерен.

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.

– Я предвижу, что удивлю вас, – начал Аркадий, снова собравшись с силами, – тем более что это чувство относится некоторым образом… некоторым образом, заметьте, – до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности, – продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться, – этот упрек часто направляется… падает… на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности… («Да помоги же мне, помоги!» – с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться…

– Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите, – раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов,

заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова.

Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

– Вот видите ли, – продолжала Анна Сергеевна, – мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба, – к чему церемониться? – умны: сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено… а потом…

– А потом я выдохся, – подхватил Базаров.

– Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было… как бы это сказать… однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий…

– Вы в нем нуждаетесь? – спросил Базаров.

– Полноте, Евгений Васильич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть…

– Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях, – перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. – Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре… Это симптом важный.

– Он с Катей совсем как брат, – промолвила Анна Сергеевна, – и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

– Это в вас говорит… сестра? – произнес протяжно Базаров.

– Разумеется… Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь… и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.

– Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр… Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

– Евгений Васильич, мы не властны… – начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова.

– Ведь вы свободны, – произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились… все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

– Катерина Сергеевна, – проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, – я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы… Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что все другое – поймите меня, – все, все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово… Я люблю… я люблю вас… поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

– Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

– Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите… Или… или… я не смею докончить…

– Да, – повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя…», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

– Вот как, – проговорил он, – а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

– Что *вы* мне посоветуете? – спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

– Да я полагаю, – ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей, – я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех

отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

– Вы думаете? – промолвила она. – Что ж? я не вижу препятствий… Я рада за Катю… и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди… Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.

– Нынешняя молодежь больно хитра стала, – заметил Базаров и тоже засмеялся. – Прощайте, – заговорил он опять после небольшого молчания. – Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам *теперь* не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

– Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

– Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

– Так ты задумал гнездо себе свить? – говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. – Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?

– Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою, – ответил Аркадий, – но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее»,

точно мне неизвестно твое мнение о браке?

– Эх, друг любезный! – проговорил Базаров, – как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет, – ну, да это так и следует. – Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. – А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь… ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, – а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич – *э волату,* как выражается мой родитель.

– Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений, – печально промолвил Аркадий, – и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

– Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, – это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился… Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

– Что значит молодость! – произнес спокойно Базаров. – Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

– Прощай, брат! – сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: – Вот тебе! изучай!

– Это что значит? – спросил Аркадий.

– Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что

галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастия не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров, – подумала она, – любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм…»

– Дети! – промолвила она громко, – что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей нетрудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

– Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина, – сказал ему Базаров, – я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

– Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! – отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя, – говорил он ей, – в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» – бывало скажет она, – а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так», – а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу? – „Да что ж ты у него сама не спросила?“ – „А надоем!“ Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает, – жаловался он втихомолку жене, – он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен – вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». –

«Господи, господи! – шептала старушка, – надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным обратим расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии… Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». – «Ну, ну, ну, я ничего!» – поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь…* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – говорил он ему, – излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, – вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим… тоже, потому, значит… какой положон у нас, примерно, придел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? – перебивал его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

– Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик, – а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

– О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. – О недоимке, что ль?

– Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость, – так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

– Где понять! – отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем),

этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового…

Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» – потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! – шептал он своей супруге. – Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да, – говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку гулярдовой воды или банку беленной мази, – ты, голубушка, должна ежеминутно бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

– Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся… Мне кажется, дуб, и тот бы вылетел вон!..

– Похвально! – промолвил наконец отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы,

несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

– Есть; на что тебе?

– Нужно… ранку прижечь.

– Кому?

– Себе.

– Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

– Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь – откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

– Ну?

– Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

– Ради самого бога, – промолвил Василий Иванович, – позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

– Экой ты охотник до практики!

– Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно?

– Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

– Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

– Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

– Как… поздно… – едва мог произнести Василий Иванович.

– Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

– Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

– Не было.

– Как же это, боже мой! Врач – и не имеет такой необходимой вещи!

– Ты бы посмотрел на его ланцеты, – промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился… но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

– Отчего ты не ешь, Евгений? – спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. – Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

– Не хочется, так и не ем.

– У тебя аппетиту нету? А голова? – прибавил он робким голосом, – болит?

– Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

– Не рассердись, пожалуйста, Евгений, – продолжал Василий Иванович, – но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

– Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

– И озноб был?

– Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

– То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, – промолвила Арина Власьевна.

– Простудился, – повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и

посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше» – и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

– Старина, – начал Базаров сиплым и медленным голосом, – дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

– Евгений! – пролепетал он, – что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился…

– Полно, – не спеша перебил его Базаров. – Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

– Где же признаки… заражения, Евгений?.. помилуй!

– А это что? – промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

– Положим, – сказал он наконец, – положим… если… если даже

что-нибудь вроде… заражения…

– Пиэмии, – подсказал сын.

– Ну да… вроде… эпидемии…

– *Пиэмии,* – сурово и отчетливо повторил Базаров. – Аль уж позабыл свои тетрадки?

– Ну да, да, как тебе угодно… А все-таки мы тебя вылечим!

– Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу. – Он отпил еще немного воды. – А я хочу попросить тебя об одной вещи… пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

– Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

– Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором… Этим ты себя потешил… потешь и меня: пошли ты нарочного…

– К Аркадию Николаичу, – подхватил старик.

– Кто такой Аркадий Николаич? – проговорил Базаров как бы в раздумье. – Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица… Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

– Исполню… Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений… Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

– Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

– Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

– Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно… и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

– Молись, Арина, молись! – простонал он, – наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности

выздоровления.

– А вам случалось видеть, что люди в моем положении *не* отправляются в Елисейские? – спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

– Сила-то, сила, – промолвил он, – вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я… Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? – прибавил он погодя немного. – Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

– Какой я философ! – завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, – шептал он, сжимая кулаки, – что за вздор!» И тут же говорил:

«Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» – Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни… рвотное… горчишники к желудку… кровопускание», – говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова… Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

– Слава богу! – твердил он. – Наступил кризис… прошел кризис.

– Эка, подумаешь! – промолвил Базаров, – слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» – и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут –

он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

– Браво! прекрасно сказано, прекрасно! – воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

– Так как же, по-твоему, – промолвил он, – кризис прошел или наступил?

– Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, – отвечал Василий Иванович.

– Ну и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

– Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить – и не мог.

– Евгений! – произнес он наконец, – сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова… Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

– Что, мой отец?

– Евгений, – продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. – Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее… ведь навек, Евгений… ты подумай, каково-то…

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

– Я не отказываюсь, если это может вас утешить, – промолвил он наконец, – но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

– Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг…

– Нет, я подожду, – перебил Базаров. – Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобою ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

– Помилуй, Евгений…

– Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы…

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фырканье лошадей… Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо… Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее…

– Я Одинцова, – промолвила она. – Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

– Благодетельница! – воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты. – Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба…

– Что такое, господи! – пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

– Что вы! что вы! – твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

– Wo ist der Kranke?[292] И где же есть пациент? – проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

– Здесь, здесь, пожалуйте за мной, *вертестер герр коллега*[293], – прибавил он по старой памяти.

– Э! – произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

– Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, – сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, – и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

– Что ты сказал?

– Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

– Она здесь… я хочу ее видеть.

– Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с

господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца.

– Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: jam moritur.[294]

– Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein,[295] – начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

– *Их… габе*…[296] Говорите уж лучше по-русски, – промолвил старик.

– А, а! *так этто фот как этто*… Пошалуй…

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, – мгновенно сверкнула у ней в голове.

– Спасибо, – усиленно заговорил он, – я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

– Анна Сергеевна так была добра… – начал Василий Иванович.

– Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь…

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

– Ну, спасибо, – повторил Базаров. – Это по-царски… Говорят, цари тоже посещают умирающих.

– Евгений Васильич, я надеюсь…

– Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу… а там придет беспамятство, и *фюить!* (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать… я любил вас! это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая…

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

– Ничего, не тревожьтесь… сядьте там… Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

– Великодушная! – шепнул он. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.

– Меня вы забудете, – начал он опять, – мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет… Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось… вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать… Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

– Евгений Васильич, я здесь…

Он разом принял руку и приподнялся.

– Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…

Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.

– И довольно! – промолвил он и опустился на подушку. – Теперь… темнота…

Анна Сергеевна тихо вышла.

– Что? – спросил ее шепотом Василий Иванович.

– Он заснул, – отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом

что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, – рассказывала потом в людской Анфисушка, – рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень…»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым…

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошели и возмужали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительным чертам… Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась,

как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна – другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

– Ты нас покидаешь, ты нас покидаешь, милый брат, – начал он, – конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я… что мы… сколь я… сколь мы… Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.

– Нет, папаша, я не приготовлялся.

– А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом:

«Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!»[297] Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

– В память Базарова, – шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, – человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья… пожалуй, до любви. Княжна Х……я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения,

что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о *ман*ципации (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту *мун*ципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю: тюпюрь, обюспючюн,* но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы – у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «a *perfect gentleman». С* русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *très distingué*.[298] Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся *во временной оппозиции,* величаво посетил его, проезжая на богемские воды, а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т.д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff*.[299] Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело… тяжелей, чем он сам подозревает… Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда,

прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься…

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его – трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком… и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими

невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…

Примечания

1

Антресоль – верхний полуэтаж дома.

2

Дворня – вся прислуга в барском доме.

3

Мужчина двенадцати вершков роста – ростом в два аршина и двенадцать вершков, почти два метра.)

4

Тягловый мужик – крепостной крестьянин, получавший от своего помещика надел земли, за что он должен был обрабатывать поля помещика и платить ему подати.

5

Плечей – старинная форма слова «плеч».

6

В околотке – в окружности, в окрестности.

7

Дворецкий – старший слуга в доме, отвечавший за весь порядок в доме, за работу всех слуг.

8

Ключник – слуга, ведавший в барском доме съестными припасами, кладовой и погребом.

9

Кастеляниха – здесь: женщина, ведавшая барским бельем.

10

Компаньонка – здесь: приживалка в барском доме, обедневшая дворянка, жившая из милости у богатых людей.

11

Форейтор – кучер, сидящий верхом на передней лошади. В старину в барский экипаж запрягали иногда по четыре-шесть лошадей цугом (гуськом); ими правили два кучера.

12

Коник – широкая, в виде ларя с поднимающейся крышкой лавка для спанья.

13

Батальная картина – картина, изображающая битву, сражение.

14

Охотный ряд – одна из центральных улиц в Москве; до революции в Охотном ряду находился рынок.

15

Радение – старание.

16

Хожалый – посыльный, служитель при полиции для различных поручений.

17

Половой – слуга в трактире.

18

Распустили по оброку – отпустили дворовых на заработки, за что они должны были платить помещику определенную сумму денег.

19

Бобыль – безземельный, одинокий крестьянин-бедняк.

20

Не надобеть – не надобно.

21

Осел – накидная петля, аркан.

22

Ягдташ – охотничья сумка для дичи.

23

Гуртовщики – пастухи, погонщики скота.

24

Замашная – сшитая из замашки, грубого домотканного холста.

25

«Рольней» и «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. *(Прим. авт.)*

26

Лисовщики гладят, скоблят бумагу. *(Прим. авт.)*

27

«Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. *(Прим. авт.)*

28

Сетка, которой бумагу черпают. *(Прим. авт.)*

29

По-орловскому: змеи. *(Прим. авт.)*

30

Так мужики называют у нас солнечное затмение. *(Прим. авт.)*

31

В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. *(Прим. авт.)*

32

Бочар – ремесленник, изготавливающий бочки.

33

Сугибель – крутой поворот в овраге. *(Прим. авт.)*

34

Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. *(Прим. авт.)*

35

«Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов. Орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов. *(Прим. авт.)*

36

Засека – лес, в котором нельзя рубить деревья.

37

Нахимов Аким – автор сатирических басен, эпиграм.

38

«*Пинна*» – повесть второстепенного писателя М. Маркова.

39

Вотчина – родовое имение, переходившее по наследству от отца к сыну.

40

Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приютное место. *(Прим. авт.).*

41

Рядчик – от слова *рядить.* Так называли тех, кто нанимал рабочих.

42

Фальцет – очень высокий голос.

43

Лирический тенор (*итал., фр.*)

44

Фофан – простофиля, глупец.

45

Полеха – полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Волховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. *(Прим. авт.)*

46

Паняй – полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га» и «баде». «Паняй» вместо «погоняй». *(Прим. авт.)*

47

Целовальник (устар.) – продавец в кабаке, трактире.

48

Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. (*Прим. авт.*)

49

«Верхом» называется в Орловской губернии овраг. (*Прим. авт*.)

50

Сама по себе *(нем.)*.

51

Драхвы (или *дрофы*) – крупные степные птицы из семейства журавлиных.

52

Лон-лакей – лакей, которого берут за плату; здесь: *проводник*.

53

«*Грюне Гевёлбе*» – (буквально: зеленый свод) – название одного из музеев Дрездена, где хранится ценная коллекция предметов ювелирного искусства.

54

Добрый вечер! *(нем.)*

55

Мадонна – с древних времен слово *мадонна* в Италии обозначало

живописное или скульптурное изображение молодой матери с младенцем.

56

Старинная немецкая песня.

57

Старинная студенческая песня на латинском языке.

58

Филистер – самодовольный, ограниченный человек, заботящийся только о своем благополучии.

59

Добрый вечер, мадам! *(нем.)*

60

Книксен – вежливый поклон с приседанием.

61

Бургомистр – выборное лицо, стоявшее во главе городского самоуправления.

62

Знаменитая фреска «Триумф Галатеи» работы Рафаэля.

63

В стиле Ван Дейка *(фр.)*.

64

Лорелея – имя девушки, героини немецкого фольклора. Лорелея зазывала своим пением рыбаков, и те разбивались о скалы.

65

Женщиной весьма вульгарной *(фр.)*.

66

Гадкие денежные дела *(фр.)*.

67

Парижанин *(фр.)*.

68

Что я для нее? *(фр.)*

69

С повадкой гризетки *(фр.)*.

70

Господа *(фр.)*.

71

Воспитанные *(фр.)*.

72

Женщиной, способной на что угодно *(фр.)*.

73

С глазу на глаз? *(фр.)*.

74

Дословно: «Дневник прений» *(фр.)*.

75

Тише! *(фр.)*.

76

Спасибо *(фр.)*.

77

Барбье Огюст – французский революционный поэт-романтик. Большую известность получил его сборник «Ямбы», в котором поэт обличал поработителей французского народа.

78

«*Телеграф*» – «Московский телеграф» – известный литературный журнал либерального направления.

79

От aventurière – авантюристка, искательница приключений (*фр.*).

80

А, господин паж! *(фр.)*.

81

Вакансия – здесь: каникулы.

82

Кадет – воспитанник кадетского корпуса, учебного заведения в России, подготавливавшего к офицерскому званию.

83

Зоря – растение с толстым, дудчатым стеблем.

84

Чистокровный *(фр.)*.

85

Вы должны расстаться с этой… *(фр.)*

86

Ну, ну, мой мальчик… *(фр.)*.

87

Осторожнее, осторожнее *(фр.)*.

88

Это – самый шик *(фр.)*.

89

Очаровательный мальчик *(фр.)*.

90

Замирая *(итал.)*.

91

И я тоже художник *(итал.)*.

92

Кузен *(фр.)*.

93

Самый цвет *(фр.)*.

94

На манер Ришелье *(фр.)*.

95

В законности – добродетель *(лат.)*.

96

Человека *(фр.)*.

97

Мой сын *(фр.)*.

98

Вы *(фр.)*.

99

Моя дочь делает прекрасную партию *(нем.)*.

100

Очаровательная мадам Лаврецкая *(фр.)*.

101

От шоссе Антан до улицы Лилль *(фр.)*.

102

Г-жа ***, это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П … *(фр.)*

103

Мой дорогой кузен *(фр.*).

104

Теперь больше нет людей таких, как бывало *(фр.*).

105

Популяризировать идею кадастра *(фр.)*.

106

Озлобленный *(фр.)*.

107

В конце концов *(фр.)*.

108

С которым случилась такая нелепость *(фр.*).

109

Поэтическая натура *(фр.)*.

110

И потом *(фр.)*.

111

В большом масштабе *(фр.)*.

112

Все это глупости *(фр.)*.

113

Ада, вот твой отец *(фр.)*.

114

Проси его со мной *(фр.)*.

115

Так это папа *(фр.)*.

116

Да, мое дитя, не правда ли, ты его любишь? *(фр.)*

117

Ну, как, сударыня? *(фр.)*

118

Да так, Жюстина *(фр.)*.

119

На войне как на войне *(фр.)*.

120

Браво! *(фр.)*

121

Ваша мать вас зовет, прощайте навсегда… *(фр.)*.

122

то удивительно *(фр.)*.

123

Отечество прежде всего *(фр.)*.

124

Вы очаровательны *(фр.)*.

125

Тетя *(фр.)*.

126

Алфейным *(фр.)*.

127

Духи королевы Виктории *(фр.)*.

128

А она прелестна! *(фр.)*

129

Превосходный молодой человек *(фр.)*.

130

Вскоре затем *(итал.)*.

131

Собрат *(фр.)*.

132

Ступайте *(фр.)*.

133

Прекрасно *(фр.)*.

134

У вас есть стиль *(фр.)*.

135

Прекрасно, прекрасная идея *(фр.)*.

136

Довольно музыки *(фр.)*.

137

Пороха она не изобрела, эта милая дама *(фр.)*.

138

Да, я думаю *(фр.)*.

139

Как законченная артистка *(фр.)*.

140

Моя дорогая *(фр.)*.

141

До свиданья! *(фр.)*

142

Хорошо, сударь *(фр.)*.

143

Окончательно *(фр.)*.

144

Тучный вол с Украины *(фр.)*.

145

Кандидат – лицо, сдавшее специальный «кандидатский экзамен» и защитившее специальную письменную работу по окончании университета, первая ученая степень, установленная в 1804 г.

146

Английский клуб – место собрания состоятельных и родовитых дворян для вечернего времяпрепровождения. Здесь развлекались, читали газеты, журналы, обменивались политическими новостями и мнениями и т.п. Обычай устраивать такого рода клубы заимствован в Англии. Первый английский клуб в России возник в 1700 году.

147

«*...но тут настал 48-й год*». – 1848 год – год февральской и июньской революций во Франции. Страх перед революцией вызвал со стороны Николая I крутые меры, в том числе запрет выезда за границу.

148

Оброк – более прогрессивная по сравнению с барщиной денежная форма эксплуатации крестьян. Крестьянин заранее «обрекался» дать помещику определенную сумму денег, и тот отпускал его из имения на заработки.

149

Маркиза – здесь: навес из какой-либо плотной ткани над балконом

для защиты от солнца и дождя.

150

Он в самом деле вольный *(фр.)*.

151

Камердинер – (нем. *комнатный слуга*) – самый приближенный из слуг.

152

Приказчик – здесь: управляющий хозяйством имения.

153

Мещане – одно из сословий в царской России.

154

Воротище – остатки ворот без створок.

155

Ливрейная куртка – короткая ливрея, повседневная одежда молодого слуги.

156

Костюм английского покроя (*англ.*).

157

Рукопожатие *(англ.)*.

158

Стал развязнее *(фр.)*.

159

Гамбсово кресло – кресло работы модного петербургского мебельного мастера Гамбса.

160

«Galignani» – «Galignani s Messenger» – «Вестник Галиньяни» – ежедневная газета, издававшаяся в Париже на английском языке с 1814 года. Получила название по имени своего основателя – Джованни Антонио Галиньяни.

161

Женская теплая кофта, обычно без рукавов, со сборками по талии.

162

Нигилист – отрицатель (от латин. *nihil* – ничего); нигилизм – система взглядов, имевшая распространение в середине XIX века. В 60-е годы XIX столетия противники революционной демократии называли нигилистами вообще всех революционно настроенных.

163

Вы все это переменили *(фр.)*.

164

Дай вам бог здоровья и генеральский чин. – Несколько видоизмененная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (действие II, явл. V).

165

Тулья – верхняя часть шляпы.

166

Протестовал себя – зарекомендовал, показал себя.

167

Бекас – небольшая птица, болотная дичь.

168

Шиллер Фридрих (1759–1805) – великий немецкий поэт, автор пьес «Коварство и любовь», «Разбойники» и др.

169

Гетте – искаженное произношение имени Вольфганга Гёте (1749–1832) – великого немецкого поэта и философа; друг Шиллера. Их обоих зовут поэтами «эпохи бури и натиска».

170

Либих Юстус (1803–1873) – немецкий химик, автор ряда работ по теории и практики сельского хозяйства.

171

Аза в глаза не видать – значит не знать самого начала чего-либо; аз – первая буква славянской азбуки.

172

Отсталый колпак – в то время старики носили ночные колпаки.

173

Львиные привычки – здесь: в смысле щегольских привычек «светского льва».

174

Фатство (или фатовство) – чрезмерное щегольство, от слова *фат* – пошлый франт, щеголь.

175

Пажеский корпус – привилегированное военное учебное заведение. В Пажеский корпус принимались исключительно дети крупных сановников.

176

Баден – знаменитый курорт.

177

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) – английский полководец и государственный деятель; в 1815 году при содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо.

178

Людовик-Филипп, Луи-Филипп – французский король (1830–1848); февральская революция 1848 года заставила Людовика-Филиппа отречься от престола и бежать в Англию, где он и умер.

179

Но я могу дать тебе денег *(фр.)*.

180

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. В 1816–1827 гг. командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии.

181

...разрозненный том Стрельцов. – Речь идет об историческом четырехтомном романе «Стрельцы» К. П. Масальского (1802–1861), вышедшем в свет в 1832 году. Произведения Масальского отличались неглубоким содержанием, но занимательной интригой.

182

В стиле эпохи Возрождения *(фр.)*.

183

Хорошо *(лат.)*.

184

Отец семейства *(лат.)*.

185

Сибаритствовать – вести праздный образ жизни. *Сибарит* – изнеженный, привыкший к роскоши человек.

186

Материя и сила *(нем.)*.

187

Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий естествоиспытатель и философ, основоположник вульгарного материализма. Его книга

«Материя и сила» в русском переводе появилась в 1860 году.

188

Общественному благу *(фр.)*.

189

Доктринерство – узкая, упрямая защита какого-либо учения (доктрины), даже если наука и жизнь противоречат ему.

190

Сентенция – краткое изречение поучительного характера.

191

Маратель, писака *(фр.)*.

192

«…наши художники в Ватикан ни ногой». – В Ватикане много музеев с ценнейшими памятниками искусства (живописи, скульптуры и т.д.). В 50–60-х гг. XIX века в русской живописи зарождается новое, реалистическое направление, получившее название передвижничества. Молодые художники отказывались от традиционного академизма, требовавшего подражания классическим образцам, главным образом итальянского искусства, и выступали за создание русского самобытного искусства, проникнутого передовыми, демократическими идеями. Этим в значительной степени и объяснялось забвение Ватикана русскими художниками.

193

Рафаэль Санти (1483–1520) – величайший итальянский художник.

194

Старомодно *(фр.)*.

195

Добрый вечер *(фр.)*.

196

Извините, сударь *(фр.)*.

197

Мизантропический – нелюдимый, человеконенавистнический.

198

Губернский предводитель – предводитель дворянства, выборный из дворян, глава дворянства всей губернии.

199

Звезда (золотая или серебряная) – знак высшей степени некоторых орденов царской России.

200

Энергия – первейшее качество государственного человека *(фр.)*.

201

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский буржуазный историк и реакционный политический деятель. Стремился к созданию во Франции блока буржуазии с дворянством и к предотвращению революции.

202

Свечина С. П. (1782–1859) – писательница мистического направления. Жила главным образом в Париже. Ее сочинения (изданные в 1860 году) оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

203

Кондильяк Этьен де Бонно (1715–1780) – французский философ-идеалист. Основная его работа – «Трактат об ощущениях» (1754).

204

Шлафрок – домашний халат.

205

Самый излюбленный *(англ.)*.

206

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788–1824) – великий английский поэт; обличал английское великосветское общество; был в России более популярен, чем в Англии. *Байронизм* – здесь: подражание Байрону и его романтическим героям.

207

Прошло его время *(фр.)*.

208

Гуж – ремень, которым стягивали оглобли у телеги. Для этого нужна была физическая сила.

209

Бурдалу Луи (1632–1704) – французский проповедник. Проповеди Бурдалу переведены на русский язык в начале XIX века.

210

Вязь – старославянский шрифт, в котором все буквы связаны и переходят одна в другую.

211

Свободная от предрассудков *(фр.)*.

212

Войдите *(фр.)*.

213

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван, автора романов, проникнутых освободительными идеями.

214

Эммерсон Рольф Уолдо (1803–1882) – американский писатель и философ-идеалист.

215

«Какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич!» – Как это установлено, Тургенев здесь иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева (1821–1891) и М. А. Антоновича (1835–1918).

216

Патфайндер (следопыт) – герой романов «Кожаный чулок»,

«Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан» американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851).

217

Гейдельберг – город на юго-западе Германии, где находился старейший германский университет (основан в 1386 году).

218

Бунзен Роберт (1811–1899) – выдающийся немецкий ученый, профессор химии в Гейдельбергском университете.

219

Моя приятельница *(фр.)*.

220

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский публицист, экономист и социолог, один из основателей анархизма; противник эмансипации женщин. Маркс подверг уничтожающей критике реакционные взгляды Прудона.

221

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) – английский историк. Главная работа – «История Англии».

222

Домострой – памятник русской литературы XVI века, свод правил семейно-бытового уклада; проповедует суровую власть главы семьи – мужа. Слово «домострой» в XIX веке являлось символом всего косного и деспотического в семье.

223

О любви *(фр.)*.

224

Как истинный французский рыцарь *(фр.)*.

225

Очарован *(фр.)*.

226

«Зют», «Черт возьми», «Пст, пст, моя крошка» *(фр.)*.

227

Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего: «если б я имел» *(фр.)*.

228

Безусловно *(фр.)*.

229

Ипохондрия – психическое заболевание, выражающееся в мнительности и стремлении преувеличить свои болезненные ощущения; мрачность.

230

Превосходно *(лат.)*.

231

Фреской *(итал.)*.

232

Высший, торжественный стиль (фр. *grand genre)*.

233

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – выдающийся русский государственный деятель, автор демократических реформ. Под давлением реакционного дворянства в 1812 году отстранен от государственной службы и выслан из столицы. Был сыном священника.

234

Спич (англ.) – речь, обычно застольная, по поводу какого-либо торжества.

235

Кнесь – манерное произношение слова «князь».

236

Для вида (фр. *contenance* – осанка, вид).

237

Ремизиться – Ремиз (в карточной игре) – штраф за недобор установленного числа взяток.

238

Желтый дом – первая психиатрическая больница в Москве.

239

Тоггенбург – романтический герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тоггенбург», долгие годы просидевший у монастыря, где находилась его возлюбленная, в ожидании, чтоб «у милой стукнуло окно».

240

Миннезингеры, трубадуры – средневековые поэты-певцы, принадлежавшие к рыцарскому сословию и воспевавшие преимущественно любовь.

241

Чуйка – верхняя одежда, длинный суконный кафтан.

242

Пелуз и Фреми. Общие основы химии *(фр.)*.

243

Гано. Элементарный учебник экспериментальной физики *(фр.)*.

244

Настоящий мужчина (*homme fait*) *(фр.)*.

245

Гуфеланд Христофор (1762–1836) – немецкий врач, автор широко в свое время популярной книги «Искусство продления человеческой жизни».

246

Крез – царь Лидии (560–546 гг. до н. э.), государства Малой Азии,

обладавший, по преданию, неисчислимыми богатствами; в нарицательном смысле – богач.

247

Всякому свое *(лат.)*.

248

Здесь: предпочтение *(*фр. *préférence)*.

249

Лазаря петь – калики перехожие и слепцы, чтобы разжалобить слушателей, пели стих о евангельском Лазаре. Здесь в переносном смысле – жаловаться.

250

«Отдать землю исполу» – отдавать землю в аренду за половину урожая.

251

«*Друг здравия*» – врачебная газета, издававшаяся в Петербурге с 1833 по 1869 год.

252

Френология – псевдонаука о зависимости психики человека от наружной формы черепа.

253

Шенлейн, Рademахер – немецкие ученые, медики.

254

Гуморалист (от лат. humor – жидкость) – сторонник имевшей хождение идеалистической теории, по которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме.

255

Гоффман – немецкий ученый, медик.

256

Броун – крупный английский врач-терапевт.

257

Вот и все (*voila tout, фр.).*

258

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) – русский генерал, известный участник Отечественной войны 1812 года на петербургском направлении. Позже командовал второй армией на Юге, в Тульчине, где был штаб декабристов Южного общества.

259

«Тех-то в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете… всех знал наперечет». – Василий Иванович намекает на декабристов-южан, привлеченных к суду Николаем I в связи с восстанием 14 декабря 1825 года.

260

В травах, словах и камнях *(лат.).*

261

Отправился к праотцам *(лат.)*.

262

«…о тяжких опасениях, внушаемых… наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса». – Борьба Италии за освобождение от иноземного владычества и за национальное объединение привлекала внимание русского общества 60-х гг. Этот вопрос горячо обсуждался в русской периодической печати, в частности в революционно-демократическом «Современнике» и в «Свистке».

263

Гораций Флакк Квинт (65–8 гг. до н. э.) – знаменитый римский поэт. В своих одах и посланиях воспевал наслаждения жизнью на лоне природы.

264

Морфей – бог сна в античной мифологии.

265

Иоанн Предтеча – по преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа. Был казнен по требованию Иродиады, мстившей ему за разоблачение ее порочной жизни. (Библ.)

266

«Алексис, или Хижина в лесу» – сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминиля (1761–1819). В переводе на русский издавался в 1794, 1800, 1804 годах.

267

Цинциннат Луций Квинкий (VI–V вв. до н. э.) – римский патриций,

консул. Вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю; снискал славу образцового гражданина.

268

«…надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав». – Руссо Ж.-Ж. (1712–1778) – французский просветитель, демократ и гуманист, враг аристократии. В своей книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном» состоянии, вне губительных влияний роскоши и излишеств, свойственных, по его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.

269

Бесплатно (*лат.*).

270

Даром (*лат.*), по-любительски (*en amateur*) *(фр.)*.

271

Новый человек (*лат.*).

272

Дружище (*лат.*).

273

«На бой, на бой, за честь России». – Здесь почти с буквальной точностью воспроизведены слова, сказанные о стихах А. С. Пушкина писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с И. С. Тургеневым в Париже в 1861 году. В связи с этим Тургенев писал П. В.

Анненкову: «На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: „На бой, на бой за святую Русь“.

274

Кастор и Поллукс (они же Диоскуры) – мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь – в смысле: неразлучные друзья.

275

Владимир – в данном случае: один из царских орденов.

276

Фиоритура – музыкальное украшение мелодии.

277

Опекунский совет – учреждение, возглавлявшее Московский воспитательный дом, при котором была ссудная касса, производившая разного рода кредитные операции: выдачу ссуд под залог имений, прием денежных сумм на хранение и т.д.

278

Спокойно, спокойно *(фр.)*.

279

«по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян». – Большинство дворянства Прибалтийского края (Эстляндии, Лифляндии, Курляндии) в вопросе об освобождении крестьян стояло на крайне реакционных позициях. Опасаясь, что освобождение крестьян с землей в русских губерниях вынудит их дать землю

прибалтийским крестьянам (освобожденным ранее без земли), остзейские (т. е. прибалтийские; Остзее – немецкое название Балтийского моря) дворяне доказывали, что частная собственность на всю землю – неотъемлемая привилегия дворянства. «Остзейский» способ освобождения, обрекавший крестьян на батрачество, был осужден передовой русской общественностью.

280

Креозот – пахучая дезинфицирующая жидкость. Ею, например, пропитывали шпалы.

281

Как подобает *(*фр. *comme il faut)*.

282

Имеющий уши да слышит! *(фр.)*.

283

Полезное с приятным *(лат.)*.

284

Головокружение *(фр.)*.

285

Госпожа Ратклиф (Редклифф) – английская писательница (1764–1823). Для ее произведений характерны описания фантастических ужасов и таинственных происшествий.

286

Пиль Роберт (1788–1850) – английский государственный деятель,

консерватор.

287

Ложитесь *(фр.)*.

288

В том же роде *(фр.)*.

289

Свояченицей *(фр.)*.

290

В девятнадцатом веке *(фр.)*.

291

Что за мысль! *(фр.)*.

292

Где больной? *(нем.)*.

293

Уважаемый коллега *(нем.)*.

294

Уже умирает *(лат.)*.

295

Сударь, по-видимому, владеет немецким языком *(нем.)*.

296

Я… имею… *(нем.* ich habe*)*.

297

Прощайте! *(англ.)*.

298

Весьма почтенным *(фр.)*.

299

Господин барон фон Кирсанов *(нем.)*.